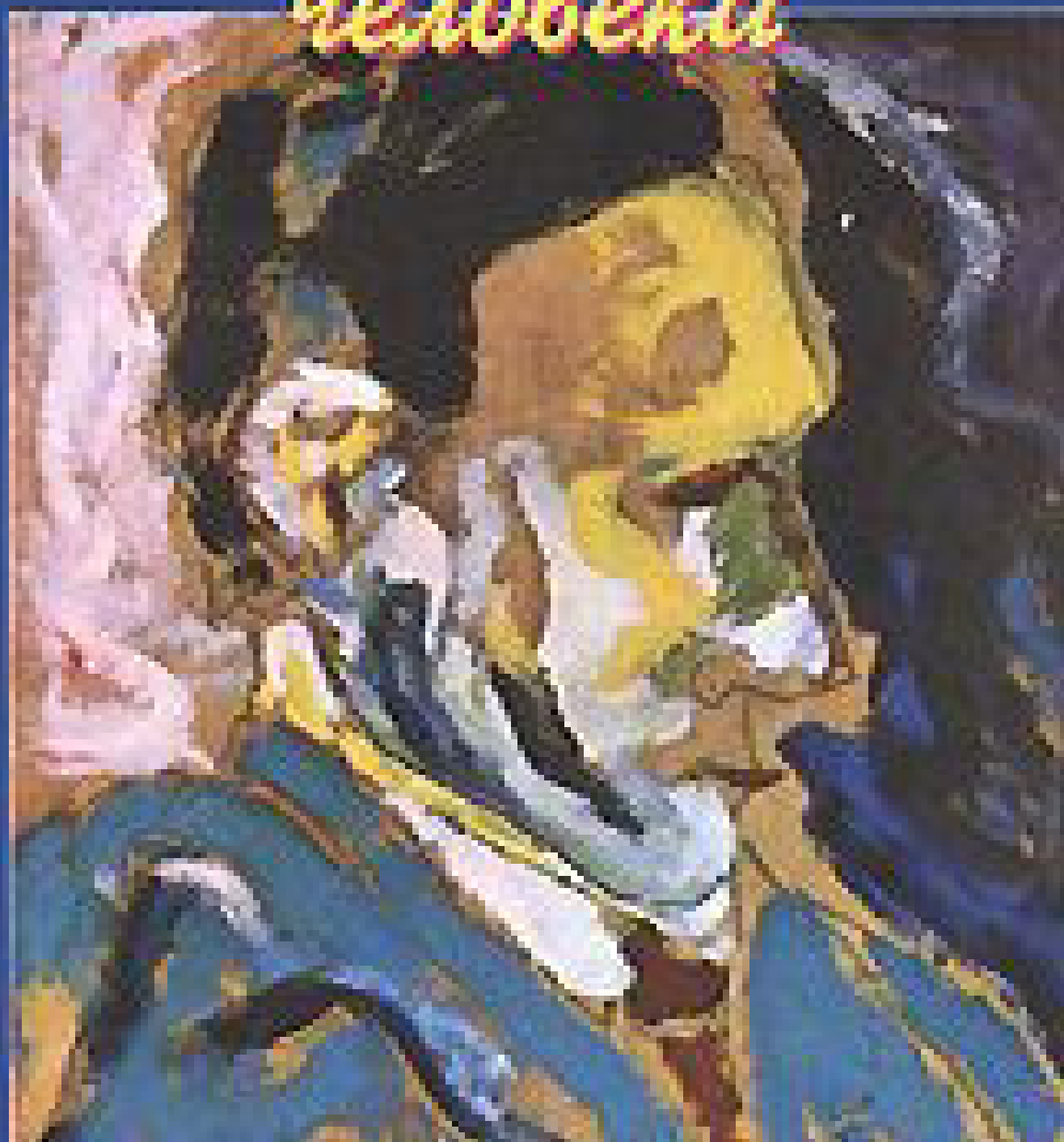




Осаму Дадзай

*Исповедь
«неполноценного»
человека*



АГР40

Осаму Дадзай

**Исповедь "неполноценного"
человека**

Предисловие

Я видел три его фотографии. На одной ему лет десять. Мальчик в полосатом хакама^[1] из грубого холста снят в саду на фоне пруда в окружении многочисленных сестер (вероятно, родных и двоюродных); голову сильно склонил влево и соорудил уродливую гримасу улыбки. Я сейчас употребил слово "уродливую", хотя неразборчивые люди, то есть те, кому безразлично, что красиво, а что безобразно, взглянув на фотографию, сказали бы, может быть: "Какой милый мальчик!" И это не было бы просто любезностью, потому что все же в улыбке было то, что обычно определяют словом "милый". Но люди, хоть в какой-то мере знающие толк в красоте, скорее всего пробурчали бы: "Неприятный ребенок" и, пожалуй, отшвырнули бы фотографию, словно не ее, а гусеницу держали в руках.

И в самом деле: чем дольше смотришь на этого улыбающегося мальчика, тем неприятнее становится... Так ведь это и не улыбка. Мальчик совсем не улыбается. Приглядимся внимательнее: кулачки сжаты. А улыбающийся человек не может сжимать кулаки. Обезьяна. Обезьянья мордочка с гримасой улыбки. Иллюзию улыбки просто создают безобразные морщины. "Морщинистый малыш" вот что хочется сказать об этом ребенке. Снимок производит странное впечатление, что-то есть в мальчике омерзительное, если не сказать - вызывающее тошноту. Никогда не доводилось мне видеть ребенка с таким странным лицом.

Второй снимок тоже поражает: возможно ли так измениться? Здесь он уже студент, может быть, гимназист - трудно сказать наверняка, но сразу бросается в глаза, что он стал значительно симпатичнее. Однако опять-таки, как это ни странно, и на этой фотографии он какой-то неживой. На нем студенческая (или гимназическая) форма, из кармашка на груди выглядывает белый платочек; положив ногу на ногу, он сидит в плетеном кресле и, опять же, улыбается. Только теперь это уже отнюдь не обезьянья гримаса - его улыбка, я бы даже сказал, изысканна. И все же что-то отличает ее от обычной человеческой улыбки. Не чувствуется в юноше полнокровия, что ли, вкуса к жизни, начисто отсутствует ощущение реального бытия; легкость даже не птички, а

перышка, листа бумаги - вот что ощущалось в его улыбке. Он весь был какой-то искусственный. Большой оригинал? Да вроде нет. И не лицемер. И не изнеженное создание. Ну и, конечно же, не пижон. Вглядевшись в это лицо внимательно, можно разглядеть что-то неприятное, что-то от оборотня или привидения. Никогда я не видел юношей с таким странным, хотя и красивым лицом.

И, наконец, третий фотоснимок, самый удивительный. Возраст определить совершенно невозможно. Голова седая. Он сидит в углу грязной комнаты (на фотографии отчетливо видны рваные в трех местах обои), греет руки над маленьким хибачи^[2]. На этом снимке он уже не улыбается. И вообще лицо ничего не выражает. Впечатление такое, будто греющий над очагом руки молодой человек медленно угасает. Чем-то зловещим, большим несчастьем веет от этого снимка. Но было в нем еще что-то загадочное, поразившее меня. Лицо снято крупно, я мог внимательно изучить его - самый обыкновенный лоб, ничего особенного в морщинах, бровях, глазах, обыкновенный нос, рот, подбородок... Ах, вот в чем дело: это лицо не только безжизненно, оно бесприметно, оно совершенно не оставляет следа в памяти. Вот только что я взглянул на фотографию, зажмуриваю глаза - и ничего не могу вспомнить. Припоминаю стены, очаг, но не могу представить себе человека, находящегося в этих стенах. Портрет с такого лица не напишешь. И карикатуру не придумаешь. Открываю глаза, смотрю снова - нет, ничего не отложилось в голове, лицо никак не вспоминается. От этого становится ужасно неприятно, появляется раздражение, хочется отвести взгляд.

То ли печать смерти, то ли нечто другое, заменяющее выражение лица и довлеющее над производимым им впечатлением (попробуйте представить себе прикрепленную к телу человека морду вьючной лошади) - во всяком случае, было в этом человеке что-то, из-за чего невольно вздрагивал каждый, глядевший на фотографию, омерзение вызывала она у всех.

Тетрадь первая

Вся моя жизнь состояла сплошь из позора. Да я, впрочем, так и не смог уяснить, что это такое - человеческая жизнь... Я родился в деревне на северо-востоке страны. Поезд увидел впервые уже взрослым. Железнодорожные эстакады казались мне аттракционами, по замысловатой прихоти выстроенными на заграничный манер; и хотя я не раз ими пользовался, никак не мог свыкнуться с мыслью, что они нужны для безопасного перехода через пути. Не единожды поднимаясь на эстакаду, или спускаясь с нее, я воспринимал это как изысканное развлечение, мне казалось, что они составляют одну из самых приятных услуг, оказываемых железной дорогой; и когда позднее я открыл для себя, что эстакада - не более чем мост над путями, то есть строение исключительно утилитарного назначения, - интерес к ним совершенно пропал.

И еще помню, что как-то в детстве я увидел в одной книжке метро, и тоже долго считал его не транспортом, созданным из практической необходимости, а увлекательным развлечением: разве не шик - кататься на поезде под землей?

Я был хилым ребенком, часто болел и, разглядывая в постели простыню, наволочку, пододеяльник, думал: до чего же у них скучная расцветка; годам к двадцати только я осознал практическую надобность таких вещей, и это меня очень поразило, я был буквально подавлен сухой расчетливостью людей.

Не знал я также, что такое голод. Нет, не в том дело, что я рос в семье, никогда не испытывавшей нужды; я имею в виду совсем не эту банальную ситуацию, а то, что мне совершенно неведомо было ощущение голода. Странно, но я не обращал никакого внимания на еду, даже если долго не было крошки во рту. Помню, когда я учился в школе - в начальной, затем в средней возвращался с уроков, а вокруг меня носились: "Проголодался, наверное? Знаем-знаем, сами помним, как жутко хочется есть после школы. Может, поешь сладенького натто^[3]? А бисквита не хочешь? И хлеб тоже есть." И я, подхалим от рождения, бормочу, что проголодался, нехотя закидываю в рот десять фасолек, не ощущая при этом ничего, похожего на голод.

Вообще-то я ем отнюдь не мало, но не припомню случая, когда бы я ел оттого, что был голоден; ел то, что считал редкостью, лакомством. Когда меня угощают - ем много, едва ли не больше, чем могу. Но питаться дома в кругу семьи с детства было для меня тяжелой обязанностью.

От воспоминаний об обедах в нашем деревенском доме меня прошибает пот. Вот как это выглядело: в два ряда стоят низенькие столики-подносы и все - а нас в семье было десять человек - садятся друг против друга, каждый за свой столик, я, самый младший, сажусь за последний; в комнате сумрачно, все едят, не произнося ни слова. Если добавить еще, что в нашем доме сохранялись старые порядки и пища была всегда одна и та же, о лакомствах, роскошной еде никто и не помышлял, то станет понятно, почему - чем дальше, тем больше домашние трапезы внушали мне ужас. Когда я в полутемной комнате сидел за своим столиком и, дрожа от холода, запихивал в рот горсть риса, мозги сверлили вопросы: почему люди едят каждый день по три раза? Почему с такими постными лицами? может быть, принятие пищи - это ритуал? и для совершения этого все члены семьи всегда в одно и то же время три раза в день (!) вынуждены собираться в затемненной комнате, ровно расставлять столики и угрюмо есть, даже если этого им, возможно, не хочется? Мне даже приходила в голову мысль, что трапезы - на самом деле моление обитающим в нашем доме духам.

"Умрешь, если не будешь питаться", - говорили мне; и хотя я воспринимал эту фразу как запугивание, она, тем не менее, всегда вызывала у меня беспокойство и страх. "Без пищи человек умирает, человек работает, чтобы есть. Надо, обязательно надо принимать пищу."...Ничего более недоступного разумению мне слышать не приходилось.

Из всего этого следовало, что я нисколько не смыслю в предназначении человека. Мое понимание счастья шло вразрез с тем, как понимают его другие люди, и это становилось источником беспокойства, которое ночами не давало мне спать, сводило с ума. Так все-таки, каково мне: счастлив я? или нет? Часто, еще с детства люди называли меня счастливчиком, мне же, наоборот, казалось, что как раз их жизни куда благополучнее, при том, что моя - просто адская.

Иногда я даже так думал: испытай ближние хотя бы одну из моих бед, эта единственная скосила бы их.

Для меня всегда было непостижимым представить себе, что и в какой степени доставляет ближним страдания. Может, и в самом деле реально только то страдание, которое разрешается простым наполнением желудка? Быть может, это и есть самая ужасная, адская мука? И она не уступает тем десяти, которые испепеляют мою душу? Тогда почему никто собственноручно не обрывает свою жизнь, не сходит с ума? Люди болтают о политике, судачат о том о сем, не ведая отчаяния, способны стойко бороться с разными невзгодами... Так, может быть, им не столь уж тяжело? Или же они - совершенные эгоисты, уверовавшие в свою непогрешимость, никогда и ничего не подвергающие сомнению? В таком случае им, действительно, легко жить. Но неужто все люди таковы? И все вполне довольны собой? Не понимаю... Неужели все они ночью крепко спят и наутро встают бодрые? Какие сны им снятся? О чем они думают, когда идут по улице? О деньгах? Вряд ли только о них. Мне приходилось слышать, что люди живут ради еды, но я не слышал еще, чтоб жили исключительно ради денег... Хотя всякое бывает. Нет, непонятно мне все это... Чем чаще я думал об этих вещах, тем меньше понимал и тем большее беспокойство терзало меня. А также страх, что я один не такой, как все. Я не в силах общаться с целым миром. Ну о чем я должен рассуждать с людьми? Ну как? Не знаю...

И тут меня осенило: надо стать паяцем. Это будет последней попыткой перекинуть мост между собою и людьми. Испытывая перед ними чрезвычайный страх, я все же на окончательный разрыв пойти не мог. Вот так и получилось, что шутовское кривлянье стало единственной связующей ниточкой между мною и всеми другими людьми. Grimаса улыбки не сходила с моего лица, в то время, как душу терзало отчаяние; шутовство стоило огромных усилий, я всегда находился на пределе и в любой момент мог сорваться.

Да, с детских лет я совершенно не представлял, как живут мои родные, что их заботит, о чем они думают; и в то же время не мог примириться с их унылым существованием. Оттого, наверное, прекрасно научился паясничать. Как и когда это произошло - не знаю, но с малых лет я владел способностью не произносить ни слова правды.

Вот фотография, на которой я снят со своей семьей: у всех серьезное выражение лица и только на моем, конечно же, кривая улыбка. Это тоже притворство, пока еще детское и в чем-то печальное.

Я никогда не огрызался с домашними, хотя их ворчание отдавалось во мне раскатами грома и доводило до безумия. Наоборот, я укреплялся во мнении, что как раз их речи и выражают общечеловеческие истины, да вот только у меня нет сил жить в соответствии с ними и, вероятно, я уже до конца дней своих не смогу сосуществовать с людьми. Поэтому никогда не вступал в споры, не пытался оправдываться. Стоило кому-нибудь побранить меня - я сразу же с готовностью признавал свою вину. Все нападки сносил молча. Но чего мне это стоило! Порой я буквально сходил с ума.

Естественно, никому не нравится, когда его ругают, когда на него злятся, но мне в искаженном злобой человеческом лице видится истинная звериная - сущность, и человек-зверь кажется мне страшнее нравом, чем лев, крокодил или дракон. Обычно звериный нрав люди стараются спрятать поглубже, но бывают моменты, когда он проявляется - подобно тому, как корова дремлет, лениво пощипывая травку, и вдруг нет-нет да и шлеп хвостом севшего на брюхо слепня. Всякий раз я содрогаюсь, видя в человеке разбуженного злобой зверя; волосы на голове встают дыбом: неужто злоба - неизбежный спутник человека в его странствиях по жизни? Я всегда приходил в отчаяние от этой мысли.

Постоянно люди ввергали меня в панический ужас, я уже уверовал, что не состоялся как человек, и все это выливалось в то, что я скрывал свои терзания в тайниках души, усиленно маскировал меланхолию, нервозность, закутываясь в одежды; наивного оптимизма, все более становился паяцем, чудаком.

Главное - заставлять людей смеяться, - рассуждал я, - и тогда им не особенно бросится в глаза мое пребывание вне того, что они называют "жизнью"; во всяком случае, мне не следует становиться бельмом в их глазах; я - ничто, я - воздух, небо. Все более укрепляясь в этом мнении, я отгородился своими чудачествами от семьи, самым отчаянным образом паясничал даже перед слугами, кстати, гораздо более загадочными и несносными, чем родные.

Бывало, стараясь всех рассмешить, летними днями под легкое кимоно я надевал шерстяной свитер и в таком виде шатался по коридору. Мой самый старший брат, который ни когда, наверное, не смеялся, - и тот, глядя на меня, не в силах удержаться, прыскал: "Слушай, Ё-чян^[4], кто же так одевается?" А сам, видно, в это время

думал: "Я-то не такой чудака, чтоб не разобраться, холодно ли, жарко ли, чтобы в летний зной напяливать на себя шерстяной свитер, да еще кимоно сверху. " На самом же деле я надевал на руки сестрины гамашы, которые, выглядывая из-под коротких рукавов кимоно, только создавали впечатление, что на мне свитер.

Моему отцу по работе приходилось подолгу и часто бывать в Токио. Там, в Уэно, в квартале Сакураги у него был домик, в котором, собственно, он и жил большую часть времени. Возвращаясь домой, отец всем, даже далеким родственникам привозил подарки. Как-то раз перед отъездом в столицу он собрал в гостиной детей и, довольно улыбаясь, стал спрашивать, что кому привезти; пожелания каждого записывал в блокнот. Справедливости ради надо отметить, что таким нежным родителем он бывал крайне редко.

Когда меня спрашивают, чего я хочу, мне как-то сразу вообще перестает хотеться чего-либо. "Все равно нет ничего, что меня обрадовало бы", мелькает в голове в таких случаях. В то же время я никогда не мог отказаться от подарка, даже если он мне совсем не нравился. Отрезать "не надо" я не мог; а если вещь даже и нравилась, я, в конце концов, испытывал только ужасную горечь, словно приобрел краденое; да еще необъяснимый страх преследовал меня. Короче говоря, решить эту альтернативу я был не в состоянии. На закате жизни эта черточка моего характера стала казаться мне существеннейшим фактором моего позорного бытия.

Так вот, пока я мялся, не зная, что ответить, отец все более мрачнел, потом не выдержал :

- Ну и как решим? Книгу, или что другое? Как-то в Асакуса в одной лавке я видел маску льва, - ну ты знаешь, маска для танца. Был как раз подходящий размер. Можно надевать на голову, играть с ней... Хочешь?

Когда вопрос поставлен таким образом, от ответа уже не уйти. Но разве шут способен дать нормальный ответ? Я чувствовал, что, как актер, проваливаюсь.

- Может, в самом деле, лучше книгу? - Старший брат изобразил на лице серьезность.

- Ну ладно, книгу так книгу. - Отец мрачно захлопнул блокнот, так ничего туда и не записав.

Боже мой! Какую промашку я допустил - разозлил отца! А ведь гнев его страшен. Можно ли как-то исправить эту оплошность? В ту ночь я

долго вертелся под одеялом, потом тихо встал, прошел в гостиную, открыл ящик стола, куда отец накануне положил блокнот, достал его, торопливо перелистал страницы, нашел ту, где отец отмечал заказы и, посплюнивав карандаш, написал: маска льва. И потом уже спокойно заснул. Вообще-то эта самая маска мне была совсем ни к чему. Пожалуй, наоборот, лучше было бы получить в подарок книгу. Но ведь отец сам хотел подарить мне маску и потому, руководствуясь желанием вернуть его расположение, глубокой ночью я отважился прокрасться в гостиную...

Как и предполагал, мои чрезвычайные старания воздались сторицей. Из детской мне было слышно, как вернувшийся из Токио отец говорил матери:

- В магазине игрушек открываю блокнот, смотрю - написано: маска льва. А почерк не мой. Что ж это такое? - подумал я, и понял: должно быть, штучки Ёдзо. Когда я спросил его, что привезти, он только улыбался и молчал. А потом, наверное, захотелось ему все-таки маску льва, не удержался и сам записал мне в блокнот. Парень он у нас странный... Захотел - так бы и сказал. Я в магазине не удержался, расхохотался... Позови-ка его скорей.

Как-то я собрал в гостиной всех слуг и служанок, одного заставил барабанить на пианино (хотя мы жили в деревне, в нашем доме было все "как у людей"), а сам под эту какофонию плясал "индейский танец", чем ужасно смешил всех. Брат сфотографировал этот мой танец", а когда сделали фотографии, опять все в доме развеселились: я танцевал, обмотавшись в ситцевый платок и там, где он расходился, виднелась моя маленькая "штучка". Видимо, и этот эпизод можно считать моей неожиданной победой.

Ежемесячно я получал более десятка журналов для подростков, из Токио мне слали кучи разных книг; все это я молча проглатывал, всякие там доктора Абрак д'Абры, профессора Нонсэнсы были мне не в диковинку; начитался разных повествований о привидениях, кучи юмористических рассказов, потешных историй эпохи Эдо^[5] и другого чтива, так что с серьезной миной мог без конца рассказывать уморительные вещи и рассмешить домашних мне не стоило труда.

Но была еще - о ужас! - школа.

Там меня начали было уважать. Но это как раз и смущало меня. Я ведь всегда обманывал ближних своих, ведь пред оком Всевидящего и

Всемогущего я просматривался насквозь, хорошо понимал это и оттого ощущал жгучий стыд, совершенно нестерпимый - и это называлось "быть уважаемым"... Всеведущему известно, что "уважаемый" - обманщик, об этом от него все равно когда-нибудь узнают люди, они поймут, что были обмануты, и тогда какова же будет их ярость! о Боже, какой будет их месть!! Даже представить себе страшно, волосы дыбом встают.

Уважение в школе я заработал не столько тем, что происхожу из богатой семьи, сколько благодаря своим способностям. С детства я был хвор и часто пропускал занятия - месяц, два, а то и чуть ли не весь учебный год; тем не менее, когда в конце года я приезжал на рикше в школу, чтобы сдать экзамены, оказывалось, что я едва ли не самый толковый ученик в классе. Да и когда посещал школу, совсем не занимался, на уроках рисовал карикатуры. Потом во время переменок показывал их, и ребята смеялись до упаду. Школьные сочинения у меня всегда получались потешными, учителя постоянно по этому поводу делали замечания, но я от своего не отступал. Я ведь знал, что они сами с удовольствием читают эти мои рассказы, только вслух не признаются в этом.

Однажды я написал сочинение (по своему обыкновению в чрезвычайно грустных тонах), повествующее о том, как мать взяла меня с собой в Токио и в дороге я сходил по маленькому в плевательницу в проходе вагона. Отдал сочинение учителю, абсолютно уверенный, что оно его рассмешит, потом крадучись последовал за ним к дверям учительской. Еще в коридоре учитель достал из стопы мою тетрадку, раскрыл ее и начал хихикать. Потом я подглядел, как в учительской он, видимо закончив читать, громко расхохотался и стал показывать мою тетрадку другим учителям. Мне было ужасно приятно лишний раз удостовериться в своих предположениях.

Все-таки мне удалось прослыть просто потешным малым, и таким образом бежать уважения. В таблице по всем предметам стояло 10 баллов, и только по поведению то 6, то 7, что тоже вызывало в доме много смеха.

Однако же в сущности я был отнюдь не потешным малым. Совсем наоборот. В эти годы служанки и слуги обучили меня кое-каким гнусностям, целомудрия я лишился... Сейчас мне кажется, что, по отношению к ребенку из всех возможных злодеяний человеческих то, о

чем я пишу - наиболее безобразнейшее, наимизчайшее и жесточайшее преступление. Но я сносил, я терпел. Так мне пришлось узнать еще одну сторону человеческого бытия, и я мог лишь бессильно смеяться над этим.

Если бы я привык говорить правду, то, очень может быть, без всякой робости рассказал бы отцу с матерью, что сделали со мной слуги; но беда была еще и в том, что у меня с родителями не было полного взаимопонимания. На чью-либо помощь рассчитывать не приходилось. Обратись я к отцу ли, к матери, к полиции, к правительству - чего в конце концов добился бы? Все равно мнение сильных мира сего прижмет меня к стенке. И только.

Я прекрасно знаю о том, что в нашем мире существует несправедливость и тщетно взывать к людям; сам я никогда не говорил того, что думаю, постоянно скрывал свои мысли, и считал, что мне не остается ничего другого, как только продолжать паясничать.

"Ты что?! О каком неверии в человека ты говоришь? С каких пор ты рассуждаешь, как христианин?" - Не исключено, найдутся люди, которые могут меня так спросить, и не без насмешки. Но, по-моему, неверие людей совсем не увязывается с религией. Ведь и в самом деле, разве люди, включая и насмешников, не живут припеваючи без дум об Иегове или о ком другом, в атмосфере недоверия, в неверии друг к другу?

Вспоминается такой случай из детства. Однажды в наш городок приехала выступать знаменитость - член партии, в которой состоял отец. Вместе со слугами я пошел в театр слушать эту знаменитость. Зал был полон, то и дело встречались люди, с которыми отец был дружен. Знаменитому оратору все долго рукоплескали, а когда собрание закончилось и присутствовавшие небольшими группками стали расходиться, я, шагая ночью по заснеженной улице, слышал, как они в пух и прах разносили сегодняшнюю речь своего кумира. Среди тех, кто поносил собрание, были и близкие друзья отца. Его "друзья и единомышленники" сердито говорили, что и вступительное слово, которое произнес отец, никуда не годится, и речь знаменитого гостя - черт знает что такое... И они же, войдя к нам в дом, с сияющими физиономиями говорили отцу, что собрание прошло чрезвычайно успешно. Слуги - и те! - на вопрос матери: а как выступление гостя? - отвечали: замечательно, замечательно интересное выступление! И тут

же, расходясь, говорили друг другу, что нет ничего тоскливее таких собраний.

Но это еще не самый яркий пример.

Все-таки удивительно, что, обманывая друг друга, никто из людей, как видно этим не мучается - обман стараются вовсе не заметить. А при этом жизнь человеческая дает нам уйму примеров недоверия, недоверчивости - примеров выпуклых, совершенно очевидных. Не могу я принять такой взаимный обман. Хотя сам-то, паясничая, с утра до ночи только тем и занимаюсь что всех обманываю... Добродетель - справедливость на уровне школьного учебника морали - не привлекает меня. Но понять людей, которые, явно обманывая, считают, что живут чисто, ясно, незамутненно - понять, принять этих людей я не в состоянии. Почему-то до сих пор люди не уяснили такие потрясающе простые истины. Да и сам я, если б удалось постичь их, вряд ли стал бы тщательно изучать людские повадки, вряд ли скатился до того обхождения, которым я людей пользую. И не пришлось бы мне противопоставлять себя законам человеческой жизни, переживать ночами муки поистине адские. Вот ведь о ненавистном злодеянии слуг и служанок я никому не пожаловался не потому, что не верю в людей, и, конечно, не из-за христианской догмы, а потому, что люди плотно закрыли створки доверия передо мной, маленьким человеком по имени Ёдзо. Да, я думаю именно так. Даже отец с матерью - и те - бывало, демонстрировали, насколько я недосыгаем для их понимания.

И то, что я не из тех, кто, пользуясь доверием людей, станет искать у них помощи, в первую очередь особым чутьем поняли многие женщины; они учуяли мое одиночество, и это позволяло им пользоваться мною как заблагорассудится. То есть, я просто хочу сказать, что женщины видели во мне человека, способного сохранять любовные тайны.

Тетрадь вторая

На берегу моря, у самой воды, там, где в прибой докатываются волны, чернеют стволы и голые ветки высоких вишен. Их более двадцати. К началу учебного года^[6] появляются коричневатые клейкие листочки, распускаются прелестные цветы; на фоне лазурного моря - красота поразительная! Влекомые ветром, цветы вскоре опадают, уносятся в море и, словно инкрустация, покрывают его поверхность, качаются на волнах, но затем море возвращает их на берег, к деревьям. Вот такое место - двор нашей гимназии, куда я поступил совершенно спокойно, без сколько-нибудь должной подготовки. Цветы сакуры на кокарде форменной фуражки и на пуговицах моей новой гимназической формы восходят к тем самым деревьям на берегу моря.

Дом, где я жил, да еще дом каких-то дальних родственников располагались совсем рядом с гимназией, чем, по-видимому, и руководствовался отец, определяя меня в это заведение. На занятия я выбегал по сигналу на утреннюю линейку; и вообще был я ленивым учеником. Но опять все то же мое постоянное паясничество вскоре сделало меня любимцем класса.

Первый раз в жизни я зажил практически отдельно от родителей, и мое новое место показалось мне куда более приятным, нежели родной дом. Клоунада давалась мне уже не столь тяжело, как раньше - возможно потому, что я кое-чего добился в этом искусстве. Хотя нет, дело, пожалуй, не в этом: будь ты и семи пядей во лбу, даже сыном божьим Иисусом - огромное значение имеет, где, перед кем ты играешь: одно дело - в родном доме, и совсем другое - в чужом краю. Самое трудное для актера - выступать перед родными; когда все семейство вместе - тут и великому актеру не до игры будет. Разве не так? А я имел мужество играть. И притом достаточно успешно. А перед чужими сумеет сыграть любой меланхолик.

Боязнь людей угнетала меня не менее, чем прежде, но при этом мастерство росло, я вечно смешил класс, хохотали и учителя, правда, прикрывая рот рукой и сетуя: "Без Ооба (это моя фамилия) был бы прекрасный класс..." Мне удавалось рассмешить даже прикомандированного к нам офицера с громоподобным голосом.

И вот в тот самый момент, когда, как мне казалось, я смог надежно скрыть свое нутро, - в этот момент совершенно неожиданно я получил, что называется удар в спину. И нанес мне его, как водится, почти идиот, самый немогущий в классе парень с бледным одутловатым лицом; он всегда ходил в пиджаке явно с плеча отца или старшего брата - рукава были длиннющими, как в одеянии Сетоку Дайси^[7]. В учении он был плох, как и в занятиях военным делом и физкультурой, на которых он всегда был просто зрителем. Стало быть, мне следовало остерегаться даже таких гимназистов.

В тот памятный день на уроке физкультуры этот гимназист (фамилии его не помню, а звали Такэичи), как обычно, глазел по сторонам, а мне велели упражняться на перекладине. Я подошел к ней, состроил самое невинное лицо, на какое только был способен, нацелился и с воплем совершил прыжок в длину, шлепнувшись задом в песок. Это оказалось явной оплошностью. Все, конечно, засмеялись. Я, улыбаясь встал, начал вытряхивать из штанов песок, и тут подходит ко мне Такэичи (как его угораздило в это время быть у перекладины?), толкнув меня в спину, тихо говорит:

- Это ты нарочно. Нарочно.

Я был потрясен. И в мыслях не мог допустить, что какой-то Такэичи - не кто другой, а именно он - разгадает меня. Мне показалось, что адское пламя охватило все вокруг, отчаянные усилия потребовались, чтобы не заорать, не впасть в сумасшествие.

И после этого каждый день - тревоги, каждый день - страхи.

Внешне я по-прежнему оставался печальным паяцем, веселил всех вокруг, но иногда вырывался из груди тяжкий вздох; я стал опасаться, что отныне Такэичи будет изобличать все, что бы я ни делал, да еще рассказывать всем направо и налево. При этой мысли на лбу выступала испарина, я нервно озирался по сторонам. Было бы в моих силах - я бы, наверное, подкарауливал Такэичи и утром, и днем, и вечером, чтобы не дать ему раскрыть мою тайну. Какое-то время я крутился вокруг него, пытался внушить ему, что тот прыжок на физкультуре я сделал не нарочно, будто в самом деле считал, что так надо; я старался показать ему, что хочу с ним близко подружиться. Ну а если все мои попытки окончатся безрезультатно, останется только желать его смерти. Вот о чем я неотступно думал. Но о том, чтобы его убить, конечно, помыслить не смел. Не раз мечтал сам быть убитым, но никогда не замысливал

убить кого-нибудь. Да потому хотя бы, чтобы не осчастливливать ненавистного врага.

Дабы как-то приручить Такэичи, однажды, соорудив по-христиански добросердечную физиономию, склонив голову влево на тридцать градусов и обняв его худые плечи, я вкрадчивым елеиным голосом стал звать к себе в гости. Прodelывать это пришлось не единожды - он всегда отмалчивался, рассеянно глядя на меня. И все-же как-то раз после уроков мне удалось заманить его к себе.

Было это, кажется, в начале лета. Лил страшный ливень и ребята не знали, как возвращаться из гимназии домой. Я же, поскольку жил рядом, собрался бежать, и тут заметил у ящиков с обувью уныло сгорбившуюся фигуру Такэичи.

- Пошли, у меня есть зонт, - сказал я и потянул оробевшего Такэичи за руку. Под проливным дождем мы побежали ко мне, попросили тетюшку высушить наши одежды, и я повел Такэичи в свою комнату на второй этаж.

В семье, где я тогда жил, было три человека: тетка - ей перевалило за шестьдесят, ее старшая дочь лет тридцати - высокая болезненная женщина в очках (она выходила раз замуж, но почему-то вернулась к матери; как и все в доме, я называл ее Анессой), и была еще вторая дочь - Сэцуко - низенькая круглолицая девушка, совсем на свою сестру непохожая; она только недавно закончила гимназию.

На первом этаже домика находилась лавка, где в небольшом количестве были выставлены канцелярские и спортивные товары, но основной доход семье давала не эта лавка, а сдававшийся внаем пятишестиквартирный дом, который до своей смерти успел выстроить дядя хозяев.

Такэичи остановился в дверях моей комнаты.

- Ухо болит, - говорит он.

- Под дождем побегал, вот и болит. - Я заглянул в его уши. Они жутко гноились, гной чуть ли не переливался из ушной раковины. - Ну, это никуда не годится. Конечно, в таком состоянии уши будут болеть! - Я нарочито громко удивился. - Извини, что потащил тебя в такой ливень.

Ласково, почти по-женски попросив прощения, я сходил вниз за ватой и спиртом, потом, положив голову Такэичи себе на колени, стал прочищать ему уши. Тот, кажется, не почувствовал никакой фальши.

- А тебя, наверное, бабы обожать будут. - Не поднимая головы с моих колен, преподнес он мне дурацкий комплимент.

Конечно же, Такэичи не осознавал в тот момент, каким дьявольски страшным было его пророчество; в верности его мне не раз пришлось убеждаться впоследствии. "Обожать... Быть обожаемым..." До чего же пошлые слова, что-то в них легковесное и слишком самодовольное; стоит в торжественной ситуации прозвучать этим словам - и на глазах рушится величественный храм, наступает полная безучастность. А вот если выразиться по-другому - не "бремя обожания" а, скажем, "беспокойство от любви", - то величественный храм останется непоколебленным. Может это и странно, но я так чувствую.

Когда Такэичи, пока я занимался его ушами, высказал мне эту чушь про "обожание", я ничего не ответил, но почувствовал, что покраснел: в его словах была доля истины. Из написанного только что может показаться, что пошное "быть обожаемым" прозвучало для меня лестно. Боюсь ложного впечатления о собственной глупости; ведь эти слова не стали бы вкладывать даже в уста молодого сверхсамодовольного барчука. В действительности я отнюдь не таков.

Женщины для меня намного загадочнее мужчин. Несмотря на то, что с самого детства я рос, мужал в основном в женском окружении - они в доме составляли большинство, среди родственников было много двоюродных сестер, прибавим сюда и "преступниц" служанок, - несмотря на это, а, возможно, именно поэтому, я чувствовал себя обычно так, будто ступаю по тонкому льду, всегда было невообразимо тяжело. Порой я терялся и жестоко ошибался, что называется, наступал на хвост тигрице и отползал тяжело раненный, и раны, наносимые женщинами - о, что по сравнению с ними плетка мужчины! - обильно кровоточили, были очень болезненны и с трудом поддавались излечению.

Женщины... То они привлекают к себе, то отталкивают, а то вдруг в присутствии людей обращаются к тебе крайне презрительно, совершенно бессердечно, но когда рядом никого нет, крепко прижимают к себе; спят они как мертвые, может быть они и живут, чтобы спать? С самого детства у меня накопилось множество разнообразных наблюдений. Вроде такие же люди, как мужчины - все же не совсем такие. Самое интересное, что эти непознаваемые существа, с которыми всегда следует быть настороже, - эти существа и в самом

деле благоволили ко мне. Да, именно благоволили, это слово наиболее верно отражает суть дела, а слова "любить", "быть любимым" в моем случае совершенно не годятся.

Важен еще один момент: женщины гораздо непринужденнее мужчин реагируют на клоунаду. Ну, во-первых, мужчины не смеются так много и весело - вероятно оттого, что я перед ними слишком старался и всегда переигрывал, к тому же всегда торопился вовремя закончить фарс; а женщины не знают предела, они неутомимы и бесконечно требуют продолжения, так что всякий раз, угождая им, я буквально выбивался из сил. Смеются они удивительно азартно. Да и что говорить, уж коли женщина доберется до удовольствий, то будет стремиться отведать их сполна, не то, что мужчина.

Все это отличало и сестер из дома, где я жил в пору учебы в гимназии. Если у них улучалась свободная минута, они - и та, и другая - поднимались на второй этаж в мою каморку, что каждый раз приводило меня в неопиcуемый ужас.

- Занимаешься?

- Да нет... - Захлопываю книгу и улыбаюсь.

- Ты знаешь, сегодня на географии учитель - Комбо его фамилия - он... И льются слова, пустячные истории ни уму ни сердцу.

Как-то раз пришли вечером ко мне сразу обе сестрицы - Сэцуко (младшая) и Анесса (старшая), и после долгого спектакля, который мне пришлось перед ними разыгрывать, сказали вдруг:

- Ё-чян, примерь-ка очки.

- Зачем?

- Примерь, тебе говорят. Возьми их у Анессы. - Сэцуко имела обыкновение говорить со мной грубовато.

Паяц послушно надел очки. Сестрицы хохотали буквально до упаду.

- Ну вылитый Ллойд! Ну как две капли!

(В то время среди японцев был очень популярен комедийный киноактер Гарольд Ллойд.)

Я встал в позу, выбросил вперед руку и начал "изрекать приветствие":

- Господа! Мне доставляет огромное наслаждение приветствовать здесь моих японских почитательниц...

Девушки давились от смеха.

А я после этого случая не пропускал ни одного фильма с участием

Ллойда, изучал его манеру держаться, говорить.

Однажды осенним вечером я лежал и читал книгу. И тут стремительно вбегает Анесса, вся зареванная, бросается на мою постель:

- Ё-чян, помоги мне! Ведь ты сможешь, да? Уйдем из этого дома! Вместе уйдем! Помоги мне! Спаси меня!

Она долго всхлипывала, говорила что-то, но меня все это особенно не трогало: уже не впервые бабы льют передо мной слезы. Страстные речи Анессы не столько испугали меня, сколько пробудили любопытство. Я вылез из-под одеяла, взял со стола хурму, снял кожицу, разрезал плод и протянул Анессе кусочек. Всхлипывая, она его съела. А потом спросила:

- У тебя есть что-нибудь интересное почитать?

Я снял с полки роман Нацумэ Сосэки "Ваш покорный слуга кот".

Спасибо. - Конфузливо улыбаясь, Анесса взяла книгу и вышла из комнаты.

Вот тебе и Анесса... Понять как и чем живет женщина казалось мне мудреней, чем разобраться в мыслях дождевых червей; впрочем, само это занятие отнюдь не из самых приятных. Но единственное я усвоил с детства: если женщина внезапно расплчется - нужно дать ей поесть чего-нибудь сладкого, и тогда ее настроение моментально улучшится.

Сэцуко, например. Приводит ко мне в комнату свою подругу. Ясное дело, я смешу их, потом подруга уходит, и Сэцуко обязательно говорит о ней гадости: паршивая девица, держись подальше от нее, и тому подобное. Уж лучше бы вообще не приводила ее, и так у меня в гостях бывают одни только бабы.

И все же пророчество Такэичи тогда еще в полной мере не сбылось. Собственно, чем я был в то время? - Всего лишь местный Гарольд Ллойд. Только по прошествии нескольких лет глупый комплимент Такэичи обернулся зловещей явью, расцвел пышным цветом и дал горькие плоды.

В свое время Такэичи сделал мне еще один "подарок".

Однажды он появился у меня с какой-то книгой в руках, раскрыл ее и с победным видом показал цветной фронтиспис.

- Привидение, - пояснил он.

Что-то во мне оборвалось в этот миг. Уже потом, гораздо позднее я понял, что именно тогда передо мной разверзлась пропасть, в которую я

до сих пор продолжаю лететь. Картину я узнал - это был знаменитый автопортрет Ван Гога. Во времена моего отрочества в Японии начался бум вокруг французских импрессионистов, собственно, с них пошло увлечение европейским искусством. В любой деревне школьники по репродукциям знали Ван Гога, Гогена, Сезанна, Ренуара. Меня особенно интересовал Ван Гог, я видел много цветных репродукций его работ, уже тогда восхищался кистью художника, свежестью палитры, но, признаться, его картины никогда не ассоциировались у меня с чертями, привидениями.

Ну, а это тоже привидение? - Я снял с полки альбом Модильяни и показал Такэичи картину, на которой была изображена бронзово-загорелая женщина.

- Вот это да! - воскликнул потрясенный Такэичи.

- Напоминает лошадь из преисподней.

- Нет, все-таки привидение.

- И мне хотелось бы писать такие привидения... - вырвалось у меня.

Люди, чувствующие страх перед себе подобными, как ни странно, испытывают потребность воочию видеть чудища, этого требует их психология, нервная организация; чем более человек подвержен страху, тем сильнее он желает неукротимых страстей. Эта кучка художников немало настрадалась от людей. Загнанные ими, художники уверовали в фантазмагии, причем настолько, что чудища виделись им среди бела дня, и они безо всякого лукавства стремились изобразить эти видения как можно явственнее и совершеннее. Так что Такэичи, заявивший, что они пишут привидения, был прав. И мне судьбой предначертано стать их сподвижником... Сильное волнение охватило меня, я чуть не прослезился.

- В моих картинах тоже будут химеры, привидения, кони из преисподней. сказал я почему-то очень тихо.

Еще в начальной школе я увлекался рисованием, любил рассматривать картинки, но считалось, что рисунки мне удаются хуже, чем сочинения. Впрочем, к суждениям людей я никогда не питал доверия; что же касается моих сочинительских опытов, то я слишком хорошо знал: они мне нужны единственно для того, чтоб доставить удовольствие учителям - сначала в начальной школе, потом в средней; сам же относился к ним, как к чему-то вроде клоунады, считая их совершенно неинтересными. И лишь когда я рисовал (не шаржи,

конечно), я работал вдохновенно, испытывал сладкое мучение, стремясь выразительнее передать свои ощущения. Причем с самого начала я шел собственным путем. Школьные учебники по рисованию были скучны, работы учителей казались мне мазней, приходилось напрягаться в поисках собственных средств выражения. Еще в средней школе у меня было все необходимое для работы маслом, но картины обычно получались какие-то плоские, как детская аппликация из цветной бумаги - вероятно оттого, что я руководствовался школьными пособиями, а подражание, даже если бы эти пособия были составлены под влиянием импрессионистов, не могло дать хороших плодов. И именно Такэичи помог мне разглядеть, где в своих художественных принципах я был неправ. Глупо стараться так же красиво воспроизвести то, что воспринимаешь как красивое; большие художники из ничего, своею волею творят прекрасное. Испытывая тошноту при виде безобразной натуры, они не скрывают, тем не менее, интереса к ней, работают с огромным наслаждением. Иначе говоря, секрет - ключ к нему дал мне Такэичи - состоял в примитивизме. И вот, тщательно скрывая от частых посетительниц моей каморки, я приступил к работе над автопортретом. Получилась вещь трагическая, от портрета мне самому становилось не по себе. То был я - тот я, которого сам же старался поглубже упрятать, тот я, на губах которого всегда скользила ухмылка, я, веселящий всех вокруг, но с душой, которую гложет вечная тоска. "Неплохо", - одобрил я свою работу, но не мог показать ее никому, кроме Такэичи: опасался, что люди смогут вывести мое самое сокровенное, не хотел, чтобы меня от чего-нибудь предостерегали, боялся также и того, что в портрете не увидят меня и сочтут его очередной блажью шута, страшился, что он вызовет только хохот, а это было бы горше всего... В общем, я упрятал автопортрет как можно глубже в стенной шкаф.

Свой химерический стиль я скрывал, на школьных занятиях старался красиво изображать красивое и не переходить границ посредственности.

Доверился только Такэичи, перед которым давно уже раскрыл свою израненную душу. Я спокойно показал ему автопортрет. Он похвалил эту мою первую работу, а потом, после второй или третьей "химерической" картины еще раз предрек:

- Из тебя получится большой художник.

И вот, окрыленный двумя пророчествами дурака Такэичи, я вскоре

отправился в Токио.

Хотел поступать в художественное училище, но отец, намереваясь сделать из меня чиновника, велел учиться в старших классах столичной гимназии. Перечить отцу я не мог, подчинился его воле еще и потому, что самому опостытели дом и сакура на берегу моря. Успешно сдал экзамены в Токийскую гимназию и началась общежитская жизнь, грязи и грубости которой я не выдержал. Уйдя из общежития (не только из моральных соображений, но и потому еще, что врачи поставили диагноз: инфильтрат в легких), я поселился на отцовской даче в районе Уэно-Сакураги. Вообще приспособиться к жизни в коллективе мне никогда не удавалось, а тогда меня бросало в холод от таких изречений, как "юношеский пыл", "достоинство молодого человека" и прочее, мне претил этот дух учащейся молодежи. И в классах, и в комнатах общежития в самом воздухе витала какая-то извращенная похотливость. Меня не спасало даже близкое к совершенству паясничанье. За исключением одной-двух недель, когда отец приезжал на свои сессии, на этой даче практически никого не было, и в довольно просторном доме я жил втроем со стариком-сторожем и его женой. Иногда я пропускал занятия, но слоняться по Токио не было желания (так никогда, наверное, и не увижу ни храма Мэйдзи-дзингу, ни памятника Кусуноги Масасигэ^[8], ни могил 47 воинов в храме Сэнгаку); обычно я читал или рисовал.

В те дни, когда отец бывал в Токио, я сломя голову мчался в гимназию, а когда его не было - уходил в студию художника Синтаро Ясуда, работавшего в европейской манере (студия находилась в районе Хонке Сэндаки), и там по три, а то и по четыре часа занимался этюдами. Мне втемяшилось в голову, что, уйдя из общежития и появляясь на лекциях изредка, я оказался в особом положении вольнослушателя; все мне стало безразлично, посещать занятия становилось все тягостнее. Да и вообще, проучившись сначала в начальной школе, а затем в гимназии, я так и не проникся так называемым "школьным патриотизмом", не удосужился запомнить даже обязательные школьные гимны.

Вскоре один художник, посещавший студию Ясуды, научил меня пить сакэ, курить, развлекаться с проститутками, закладывать вещи в ломбард и разглагольствовать о левых идеях. Странная мешанина, не правда ли? Но так было на самом деле.

Звали этого парня Масао Хорики, он родился в пригороде Токио,

был старше меня на шесть лет, уже закончил частное училище изящных искусств. Своей мастерской не имел и ходил к нам в студию заниматься европейской живописью.

Как-то Хорики обратился ко мне:

- Не одолжишь пять йен?

Я опешил, потому что знал его только в лицо, ни словом не приходилось перекинуться. Но пять йен все же протянул.

- Порядок. Пошли выпьем, я угощаю. Пошли-пошли!

Я не стал отказываться. Хорики потащил меня в кафе недалеко от студии. Вот так и началась наша дружба.

- Я давно приметил тебя, обратил внимание на твою конфузливую улыбку, каковая является отличительной особенностью предстоящего человека искусства. Ну, за встречу!...Эй, Кину-сан, что, симпатичный малый? Только чур, не влюбляться! Как только этот тип появился у нас в студии, я из первых красавцев перешел во вторые.

Хорики был смуглым парнем с очень правильными чертами лица. Всегда ходил в приличном костюме, что для студийцев-художников было достаточно необычно, всегда при галстукке скромной расцветки, волосы напояжены и разделены посредине ровным пробором.

В кафе я попал впервые и сначала очень смущался, не знал, куда деть руки, конечно же, робко улыбался. Но после двух-трех кружек пива почувствовал необычайную раскрепощенность и легкость.

- Я вообще-то хотел поступать в художественное училище...

- Да ну, не стоит. Не стоит тратить время на все эти училища, неинтересно в них. Природа - вот наш учитель! Любовь к природе движет нами!

Однако доверия к его речам я не испытывал. "Болван, - думал я. - И картины у него, наверняка, дурацкие. Но по части развлечений он ничего парень, дружить можно."

Я ведь тогда впервые встретился со столичным бездельником. Как и я, он полностью отошел от суетного мира. В другой, правда, форме. Несомненно, сближало нас то, что мы оба не имели жизненных ориентиров. Подобно мне, он тоже

был паяц. Но в том, что безысходности он не осозновал и не ощущал, мы существенно различались.

Я дружил с Масао Хорики полагая, что делаю это исключительно потому, что с ним интересно развлекаться; а в самом деле я презирал

его, порой даже стеснялся находиться с ним рядом. Так вот, этому человеку удалось в конце концов разгадать меня.

Первое время казалось, что мне на редкость повезло: познакомился с замечательным малым, отличным гидом по Токио. Однако, отягощенный комплексом страха перед людьми, я потерял бдительность. Скажу не таясь: я ведь совершенно не мог один передвигаться по городу - в трамваях боялся кондукторов. Было и другое: в театре Кабуки робел перед билетерами, стоявшими по обеим сторонам устланной пунцовым ковром лестницы; в ресторанах мне становилось страшно, когда за спиной тихо стояли или подходили с тарелками официанты; особенный ужас охватывал меня, когда надо было оплачивать счета (Боже, до чего же я неуклюж!", - всегда думал я в такие моменты); а когда я покупал что-нибудь в магазине и расплачивался за покупку, мир темнел в глазах (не от скаредности, нет!). Скованность, робость, безотчетная тревога, страхи почти доводили меня до безумия; я забывал сдачу (о том, чтобы торговаться с лавочниками уже и речи нет), а то и саму покупку. Потому и выходил я из дома редко, предпочитал целыми днями валяться в своей комнате.

Вот так и сложилось, что идя куда-нибудь вместе с Хорики, я отдавал ему свой кошелек, а уж он обнаруживал поразительные способности торговаться, гулять "дешево и сердито", тратя немного, но чрезвычайно эффективно. Такси стоило дорого, и он предпочитал держаться от него на почтительном расстоянии, прекрасно обходясь электричкой, автобусом, катером; в самое короткое время мы умудрялись добираться куда угодно. Он научил меня и многому другому. Например, ходить с женщинами в номера, где, помимо всего прочего, можно было принять ванну, поесть отваренного тофу^[9], опохмелиться; он растолковал мне, что гюмэси^[10] и якитори^[11], будучи едой дешевой, очень питательны; разъяснил, от какого дешевого сакэ можно быстрее захмелеть. Во всяком случае, в присутствии Хорики я был избавлен от страха и всяких тревог.

Еще одно спасительное обстоятельство я нашел в общении с ним: не обращая никакого внимания на собеседника, он мог часами самозабвенно нести всякий вздор (возможно, как раз из-за своей горячности он и забывал о собеседнике), следовательно, когда мы гуляли вместе, не возникало неловких пауз. У меня же обычно получалось так, что я, по натуре молчаливый, вынужден был, общаясь с

людьми, предупреждать такое неприятное молчание и отчаянно смешить собеседников. Зато, имея дело с болваном Хорики, не надо было стараться поддерживать разговор, его разглагольствования можно было спокойно пропускать мимо ушей, достаточно было только изредка улыбаться и вставлять "неужели?", "не может быть!"; роль шута исполнял сам Хорики.

Вскоре я убедился, что вино, сигареты, проститутки прекрасно помогают (пусть временно) забыться, отвлечься от вечного страха перед людьми. Ради этого мне не жалко было распродать все, что имел.

Проститутки были для меня не людьми, не женщинами, а умственно отсталыми (так казалось мне) существами или же сумасшедшими; однако, как ни странно, в их обители я находил покой, мог очень спокойно, крепко спать. И вот уж чего лишены эти несчастные создания так это алчности. Они тоже испытывали ко мне нечто вроде родственного чувства, проявляли радушие, причем не вымученное, а естественное, не продиктованное расчетливостью, не торгашеское, но радушие к человеку, с которым вряд ли придется видеться второй раз, и бывали ночи, когда я ясно видел вокруг голов проституток этих слабоумных или помешанных существ - нимб как у святой Марии.

Стремясь уйти от вечного страха, я ночами ходил развлекаться к "родственным душам"; незаметно меня стала окутывать отвратительная атмосфера, она стала "приложением" к моей жизни, и постепенно это "приложение" весьма заметно обозначилось, так что, когда Хорики обратил на это внимание, я испугался, мне стало тошно. Выражаясь грубо, я изучал женщин исключительно по проституткам и заметно в этом преуспел. Кстати, учеба на таком материале, будучи самой суровой, одновременно и самая эффективная. Так вот, запах женщин стал преследовать меня, и они (женщины вообще, не только проститутки) инстинктивно чувствовали это и сами льнули ко мне. В результате, эта непристойная позорная атмосфера, вызванная вечным страхом перед себе подобными, казалась иным куда более заметной, чем первопричина.

То, что Хорики когда-то высказал наполовину как комплимент, я со временем почувствовал в полную силу. Наивное письмо девочки из кафе... Долгие променады двадцатилетней генеральской дочки: в те минуты, когда я уходил в гимназию или возвращался из нее, она, слегка подкрасившись, бесцельно вертелась у ворот дома... Служанка из

ресторанчика, где я иногда столовался, причем там я всегда молчал... И еще дочь владельца табачной лавки, подававшая мне сигареты, а в пачках я затем обнаруживал и кое-что другое... Девушка, сидевшая в соседнем кресле в театре Кабуки... И то можно вспомнить, как однажды я возвращался поздно ночью в электричке, изрядно захмелевший, и некая особа... А письмо от дальней родственницы с излияниями любовных томлений, совершенно неожиданное письмо... Да еще куколка, скорее всего самодельная, появившаяся у меня в комнате в мое отсутствие... И так далее, и тому подобное. Сам я притом всегда был крайне пассивен, события далее не разворачивались, и все-таки то, что есть во мне что-то, заставляющее женщин грезить обо мне - это не бахвальство, а непреложный факт. Не только Хорики, и другие говорили обо мне тоже. Углядев в этой ситуации нечто оскорбительное, я мгновенно охладел к развлечениям с проститутками.

Из чистого снобизма (других мотивов я и теперь не могу отыскать) Хорики ходил на "коммунистические чтения" (точно не помню, кажется это называлось RS) и меня привел однажды в этот тайный кружок. Для таких, как Хорики подобного рода кружки были чем-то вроде достопримечательности Токио, которую непременно следует посетить. Я познакомился с "товарищами", как они друг друга называют, приобрел какие-то брошюры и стал слушать лекции по политэкономии, которые читал восседавший на председательском

месте неприятной наружности молодой парень. Все, о чем говорилось в лекциях, казалось мне давным-давно известным. Ну хорошо, все так. Но ведь имеется и еще что-то в душах людей - неведомое, страшное. Алчность? - Не совсем так. Тщета? - И это не совсем то. Любострастие плюс алчность? И в сочетании это нечто не раскрывалось полностью... Не знаю, как это определить, но, кроме экономических отношений на дне мира человеческого есть, по-видимому, еще что-то чудовищное и мне, загнанному этим миром, при том, что я признаю материализм с такой же естественностью, как вода выбирает места пониже, - при всем при том я все же знаю, что мне не дано избавиться от своих страхов перед людьми, - не дано обратить взгляда к молодой листве и почувствовать радость надежды. Тем не менее, я не пропустил ни одного занятия, присутствовал на всех собраниях этого кружка RS (может быть, я ошибаюсь, возможно, он назывался по-другому), саркастически наблюдал, как "товарищи" с

каменными лицами, словно занимаясь огромной важности делом, поглощены изучением в общем-то азбучных истин (1+12). Наконец терпение мое лопнуло, и, по своему обыкновению, я начал паясничать, пытаюсь разрядить атмосферу этих собраний; напряжение постепенно исчезло, а сам я стал весьма популярным и даже необходимым членом кружка. Простые люди, они и меня, видимо, считали таким же простым оптимистичным весельчаком, а я, следовательно, своим поведением окончательно ввел их в заблуждение. По тому что не был я "товарищем". Все же на каждое собрание я обязательно являлся и обязательно веселил всех кружковцев.

Мне нравилась сама затея. И люди нравились. Но это совсем не значит, однако, что меня сдружил с ними марксизм.

Нелегальность - вот что доставляло мне какое-то смутное наслаждение. Мне в таких условиях было очень уютно. И наоборот, легальность в этом мире казалась мне страшной (я чувствовал в ней что-то чудовищно сильное), механизм ее действия - непознаваемым, и очень трудно было усидеть в этом, фигурально выражаясь, промерзшем помещении без окон; если бы за стенами было море нелегальности - я бы прыгнул в него, барахтался в нем, и умереть там почел бы за великую радость.

Есть такое слово: отверженные. Так называют обычно жалких потерянных людей, нравственных уродов. Так вот, с самого рождения я чувствовал себя отверженным, и когда встречал человека, которого тоже так называли, ощущал такой прилив нежности к нему, что не мог сдержать восхищения перед самим собой.

Есть еще выражение: криминальная предрасположенность. Всю жизнь в этом мире людей я страдал под тяжестью этой предрасположенности, но она была и самым верным спутником в моих мытарствах, а мое с обществом взаимное кокетничанье было как бы частью натуры. В просторечии говорят: брать грех на душу. Вынужден признаться: грех запятнал мою душу самым естественным образом еще с пеленок; по мере того, как я рос, он не только не спал с души, но, наоборот, разросся, проел душу насквозь и, хоть я сравнивал свои ночи с мучениями ада, грех стал мне роднее, ближе крови и плоти; боль, которую он причинял душе, стала знаком того, что грешная моя душа жива, я стал воспринимать эту боль как ласковый шепот.

На такого человека, как я, атмосфера подпольных кружков

действовала, как ни странно, успокоительно. Иначе говоря, не столько цель этого движения нужна была мне, сколько его внешняя оболочка. А что касается самого Хорики, - он только единственный раз пошел на такое собрание, чтобы, смеха ради, привести меня туда; глупо сострив насчет того, что марксистам, одновременно с изучением производственных отношений следовало бы проявлять интерес и к потреблению, он так и поступал: от собраний держался подальше и меня все время таскал за собой "изучать сферу потребления".

Вообще же в то время существовали марксисты самых разных толков - и такие как Хорики, называвшие себя этим словом из пустого тщеславия, и подобные мне, которые заседали на этих собраниях потому, что им импонировал дух подполья. Пойми настоящие марксисты подлинную сущность своих "попутчиков", они разразились бы праведным гневом, и как ренегатов тут же выставили бы вон и Хорики, и меня. Но нас не собирались исключать из кружка, а для меня нелегальная жизнь протекала явно свободнее, чем среди легальных "джентльменов"; мне удавалось "правильно" вести себя, я считался перспективным "товарищем", жутко щеголял таинственностью члена подпольного кружка и даже брал кучу самых разных поручений. Никогда ни от чего не отказывался, спокойно брался за все, о чем ни просили и, как ни странно, все шло у меня гладко, без сучка и задоринки, я не допустил ни одного промаха, так что "легалы" (так среди кружковцев принято было называть полицейских) меня никогда не задерживали и не допрашивали; все поручения я выполнял смеясь и смеша других, притом корректно. (Надо заметить, что все кружковцы к любому делу относились как к сверхважному, действовали очень сосредоточенно, с чрезвычайной осторожностью, на полном серьезе подражая героям детективов.) В то время, как мне все поручения казались совершенно пустячными, "товарищи" любили лишний раз подчеркнуть опасный характер предпринимаемого. Настроение в тот период у меня было такое, что я спокойно вступил бы в партию несмотря на риск пожизненного заключения - страх перед реальным миром был настолько силен, наполненные стоны бессонные ночи были настолько мучительны, что я охотно предпочел бы жизнь в тюремной камере.

С отцом я виделся редко, раз в три-четыре дня; то он был занят с гостями, приезжавшими к нему на дачу, то уезжал сам. Его присутствие

меня угнетало, я боялся его и стал уже подумывать о том, чтобы снять где-нибудь комнатку и жить одному. И тут услышал от старика-управляющего, что отец вроде бы намеревается продать дом.

Наступал срок отцу складывать свои депутатские обязанности, более свою кандидатуру он выставить не собирался, были этому, видимо, какие-то причины. В родных местах он построил новый дом, в нем намеревался спокойно доживать жизнь; по Токио, как видно, не тосковал, а ради меня, гимназиста, считал неразумным содержать особняк и слуг. (Отца я не понимаю, точно также, как и всех в этом мире.) Как бы то ни было, но вскоре дом перешел к другому хозяину, а я снял себе комнатку в старом доме в квартале Морики-ва. И сразу же оказался без денег.

Прежде я получал от отца определенную сумму на карманные расходы, от нее, правда, через два-три дня ничего не оставалось, но зато в доме всегда были сигареты, спиртное, сыр, фрукты, а книги и письменные принадлежности в любое время можно было взять в кредит в ближайших лавках - как-никак, я жил в районе, избиравшем отца депутатом, так что имел возможность в любом магазине брать, что мне надо без всяких упрасиваний.

И вот после того, как я перешел жить на квартиру, денег, высылаемых мне ежемесячно, стало катастрофически не хватать. Я был в панике: они уходили в течение нескольких дней. Чувствовал себя настолько беспомощным и забытым, что чуть рассудка не лишился. Всем по очереди - отцу, братьям, сестрам посылал телеграммы с просьбой выслать деньги и припиской "подробности письмом". (Ясное дело, "подробности" эти были моим новым трюком. Чтобы кого-нибудь о чем-нибудь попросить, я считал прежде необходимым развеселить тех, к кому обращаюсь.) Хорики научил меня закладывать вещи в ломбард, к чему я и стал часто прибегать. Но денег все равно не хватало.

Вообще говоря, я не мог найти в себе сил уединенно прозябать в этой комнатке. Когда я оставался в ней один, мне всегда казалось, что сейчас кто-нибудь сюда вторгнется, нападет на меня, и потому я старался уходить из дома - что-то делал в упоминавшемся выше движении, ходил с Хорики по значным местам, пил дешевое сакэ и так далее. Учебу почти забросил, занятия живописью тоже прекратил.

На втором курсе гимназии, в ноябре моя жизнь круто изменилась: я

встретил женщину (она была на два года старше меня), с которой впоследствии решился на самоубийство.

Несмотря на то, что я пропускал уроки и дома не занимался, экзаменационные работы оценивались как "содержательные" и долго еще мне удавалось водить своих родных за нос. Все же, в конце концов, гимназия, вероятно, по секрету сообщила отцу о плохой посещаемости, потому что по его поручению брат прислал длинное грозное письмо. Меня, однако, беспокоило совсем другое: во-первых, нехватка денег, и во-вторых то, что участие в нелегальном движении требовало все больше сил и времени, так как я стал командиром оперативной группы, объединяющей марксистски настроенных учащихся гимназий Центрального квартала, а также кварталов Коисикава, Симотани, Канда. Пошли разговоры о вооруженном восстании, я приобрел маленький нож (сейчас-то мне понятно, что он едва ли годился для точки карандашей), держал его всегда в кармане плаща, мотался по улицам, "устанавливая связи". Мне ужасно хотелось напиться, чтобы как следует отоспаться, но не было денег. К тому же RS. (если не ошибаюсь, так мы называли партию) не давала передыха, поручая все новые и новые дела. Началось-то все просто из интереса к тайне, а потом это баловство обернулось так, что покоя не стало. Тут я решил себя не усмирять, послал своих коллег по RS к черту, сказав, что они обращаются не по адресу, пусть все их поручения выполняют их же подчиненные и, таким образом, порвал с ними. Но, сделав это, естественно, чувствовал себя отвратительно и задумал умереть.

Как раз в это время были три женщины, высказывавшие ко мне расположение. Одна - дочь хозяина дома, где я снимал комнатку. Только приду домой после каких-то дел по этой своей организации, буквально с ног валюсь, не ужиная ложусь спать, как тут обязательно появляется в моей комнате эта девица с почтовой бумагой и ручкой.

- Извини, пожалуйста, у нас малыши так галдят, что я и письмо не могу спокойно написать.

Она садится за стол и больше часа пишет что-то.

А я - ведь мог бы так и лежать, не обращая на нее решительно никакого внимания: до того устал, что и рта раскрыть не хочется - так нет же, я чувствую, что она ждет, когда я с ней заговорю, и просыпается моя вечная услужливость, мысленно выругавшись, ложусь на живот, закурываю и начинаю:

- Говорят, иногда мужчины топят баню любовными посланиями от женщин.

- Да ну тебя, противный... Это ты, что ли, так делаешь?

- Нет, что ты, я ими только молоко иногда кипятил.

- Ну и славно. Пей на здоровье. Скорей бы ушла. Какие там письма... Ведь ясно же, что она не письма пишет, а рожицы рисует.

- Покажи, что ты пишешь, - говорю я, думая при том: "Умереть лучше, чем читать твою писанину".

Тут начинается: "Не трожь! Отойди, не трожь!" Но радости-то, радости сколько в голосе! Чем дальше, тем больше она раззадоривается. И мне в голову приходит идея: надо попросить ее о чем-нибудь.

- Могу я побеспокоить тебя? Не сходишь в аптеку за снотворным? Устал безумно, щеки горят, а заснуть не могу. Не сочти за труд. Погоди, деньги возьми.

- Нет-нет, денег не надо.

И она встает - довольная, готовая на край света бежать, выполнять мою просьбу. Я уже хорошо знал: если мужчина обращается к женщине с просьбой, ее это не раздражает, наоборот, она радуется.

А теперь о другой женщине. Студентка гуманитарного факультета педагогического училища, из "товарищей". Как ни противно это было, с ней приходилось встречаться по делам нашей органи-

зации ежедневно. Вот уже закончены все наши дела, а она не отстает от меня, ходит по пятам и с бухты-барахты покупает мне какие-нибудь вещи.

- Можешь считать меня своей старшей сестрой, - заявила она однажды.

Меня передернуло, но спокойно отвечаю:

- Я так и считаю. - Сам улыбаюсь, но чувствую какую-то встревоженность. Боюсь ее обидеть и раздумываю, как бы половчее отделаться. Между тем вынужденно ухаживаю за этой уродиной, а когда она вручает мне свой подарок, деланно радуюсь, сыплю шутками... (Все, что она покупает, удивительно безвкусно, полученные от нее вещи я обычно сразу же отдаю хозяину, либо в ресторанчик, где обычно ем жареную на вертеле птицу.) Как-то летней ночью она вовсе не отходила от меня, и на какой-то темной улице я ее поцеловал, думая все о том же: "Хоть бы скорее ушла..." Что после этого поцелуя началось! Она взвилась от возбуждения, поймала такси, привела меня в

комнатенку, которая тайно снималась для нужд организации, до утра не могла успокоиться. А я только ухмылялся: "Ну и старшая сестрица..."

И с дочерью домовладельца, и с "сестрицей-товарищем" мне приходилось сталкиваться ежедневно, я не мог, как то было с другими женщинами, скрыться от них; смятенная душа, я заискивал перед ними и постепенно превратился чуть ли не в их раба. Именно в это время в одном большом кафе на Гиндзе я познакомился с работавшей там официанткой. Только раз, собственно, встретился с ней, но ее внимание ко мне значило так много, что забыть ее никак не мог, и снова беспокойство, безотчетный страх овладели мной. Надо сказать, тогда я уже был способен один, без Хорики ездить на электричке, ходил на спектакли Кабуки, осмелел настолько, что, надев нарядное кимоно отправился однажды в кафе. Правда, я по-прежнему пасовал перед самоуверенностью и грубой силой, по-прежнему страшился людей, страдал от них, хотя внешне как будто бы научился держаться... Впрочем, нет, я все-таки не могу общаться с людьми без жалкой клоунской ухмылки, но, по крайней мере, как-то овладел (пусть плохо) способностью элементарного общения. Что помогло мне? Участие в подпольном движении? Женщины? Сакэ? Мне кажется, во многом здесь сказалось отсутствие денег, именно это помогло мне. И вот как. Дело в том, что страх везде со мной. Но вот только в большом кафе, где толпятся пьяные посетители, носятся официанты - там, если удастся смешаться с толпой, постоянное чувство, будто тебя кто-то преследует, исчезает, появляется возможность успокоиться. Рассуждая однажды таким образом, я, имея в кармане всего десять йен, направился в большое кафе на Гиндзу. Улыбнувшись подошедшей официантке, сказал: - У меня всего десять йен.

- Не страшно, не беспокойтесь, - ответила она.

В ее говоре чувствовался кансайский акцент^[12]. А голос действовал умиротворяюще на мое колотившееся сердце. Мне показалось, что она не деньги имеет в виду, я услышал в ее словах другое: "Рядом со мной не надо беспокоиться."

Сакэ окончательно сняло тревогу, уже не хотелось ломать комедию. Я открылся ей весь без утайки, вплоть до самых мрачных сторон своей жизни. Потом замолк и только пил.

- Вы это любите? А это? - Одно за другим женщина выставляла разные блюда, но я лишь отрицательно качал головой.

- Только сакэ? Пожалуй, и я выпью немного.

Была холодная осенняя ночь. Я договорился с Цунэко, что буду ждать ее в крохотном ресторанчике недалеко от Гиндзы. (Да, кажется официантку звали Цунэко... Вот он, каков я: точно не помню имя женщины, с которой договорились о двойном самоубийстве!) Сидел я в этом ресторанчике, жевал суси - безвкусные рисовые колобки с сырой рыбой и соевым соусом. (Название ресторана забыл, отчетливо сохранилось в памяти только, что суси были удивительно невкусны. Как сейчас вижу лысого дядю, похожего на неопытного военачальника; из риса он лепит колобки, кладет на них ломтик сырой рыбы и покачивает при этом головой, будто говоря: "До чего вкусны мои суси!" Позднее уже, в электричке я пару раз вздрагивал: "Ба, знакомое лицо!", но поняв, что увидел человека просто похожего на хозяина заведения, где меня кормили плохими суси, невольно ухмылялся... Странно, не помню отчетливо ни имени той, которая меня обогрела, ни как она выглядела, - все это улетучилось из памяти, а вот лицо хозяина, готовившего это блюдо, запомнил в деталях. Так что могу сей же час написать портрет, - уж очень, наверное, невкусным были эти суси, только холод и горечь остались от них. Вообще говоря, где бы и когда бы я ни пробовал суси - они мне не нравились. "Отчего, - всегда думал я, - рисовые колобки делают такими огромными? Неужели нельзя, ну, в палец величиной?")

Цунэко жила в квартале Хондзе, в доме плотника снимала квартиру на втором этаже. В тот вечер мы пришли туда, пили чай. Не пытаясь скрыть как обычно глодавшей меня тоски, я сидел, подперев рукой щеку, словно страдал от сильной зубной боли. Интересно, что эта поза ей, кажется, нравилась. А сама Цунэко казалась мне очень сиротливой; я почему-то представлял ее фигуру под холодным осенним ветром, медленно опадают с деревьев жухлые листья...

Как-то мы сидели вдвоем и она долго рассказывала: старше меня на два года, родилась и жила в Хиросиме, есть муж (это она подчеркнула), в Хиросиме он был парикмахером, а весной позапрошлого года они переселились в Токио, но здесь ему не удалось найти работу. Он занялся какими-то темными делами и за жульничество угодил в тюрьму; каждый день она носит ему передачи, но все, хватит, завтра к нему не пойдет, и так далее, и так далее. Я, честно говоря, не любитель слушать бабью болтовню - впечатление такое, будто они не умеют говорить, неверно расставляют смысловые акценты, короче, разглагольствования

женщин я обычно пропускаю мимо ушей.

- Ужасно тоскливо...

Произнесенные шепотом эти два слова более, чем многословные речи способны были бы вызвать мое сострадание; странно, однако, просто поразительно, что до сих пор ни от одной женщины в мире я не слышал этих простых слов. Не произнесла их и Цунэко, но вся она словно источала скорбь, и стоило мне вплотную приблизиться к ней, как эта скорбь обволакивала и меня и, соединяясь с моею, содержание которой большей частью составляла глубокая подавленность, образовывала нечто, приносящее отдохновение от страха, тревог, отдохновение, подобное тому, что находит "увядший лист на камне дна речного".

- Никто вас не держит, - сказала она.

- Простите за беспокойство. - И, не умыв лица, я убежал.

А дальше случилось так, что этот вздор про деньги и дружбу привел к неожиданным последствиям.

Весь следующий месяц я не встречался с моей благодетельницей (а Цунэко действительно ею была). Со временем ощущение радости, облегчения, которое принесла мне эта женщина, стало затухать, обернулось смутной тревогой. Снова что-то стало угнетать меня, все больше я страдал от пошлой мысли, что счет в кафе в тот вечер оплачивала Цунэко, что и эта одинокая женщина, как и студентка педучилища, вертела мною; я боялся Цунэко и часто испуганно вздрагивал, будто она была рядом. Да и вообще повторные встречи с женщинами ужасно тяготили меня. Но в последнем случае причиной нашего разлада было не мое коварство, а странное явление, о котором тогда я не мог и помыслить: одна и та же женщина утром и вечером - совершенно разные люди, между ними абсолютно нет ничего общего, они как будто живут в совершенно разных мирах.

...В конце ноября гулял я с Хорики по Канда, заглянули в кабачок, посидели немного, выпили дешевого сакэ и когда вышли, этот малопочтенный друг стал уговаривать выпить еще; деньги уже кончились, но он твердил все одно: "Давай выпьем!" Я к тому времени опьянел уже настолько, что у меня хватило решимости предложить:

- Поехали в Страну грез. Повезу тебя в "Сючиникурин". Пусть это тебя не удивляет.- В это огромное кафе?

-Да.

- Поехали!

В электричке Хорики не в меру раздухарился:

- Я проголодался по женщине. В кафе хоть нацелуюсь сегодня с девочками.

Я очень не любил пьяные выходки Хорики, и он, зная об этом, повторил еще раз:

- Вот увидишь, обязательно уцелую девицу, которая будет обслуживать наш столик.

- Как знаешь...

- Спасибо! Я, видишь ли, проголодался... Давно женщины не было!

Приехали на Гиндзу, зашли в кафе, причем, чтобы пройти бесплатно, пришлось воспользоваться именем Цунэко, нашли свободный столик и уселись друг против друга. Моментально подбежали две девушки (одна из них Цунэко) и сели рядом с нами: незнакомка около меня, а Цунэко рядом с Хорики. Я ахнул: сейчас Хорики начнет приставать к ней.

Не могу сказать, что меня совершенно обуяла ревность, ведь собственнические инстинкты всегда были у меня притуплены, а если и, бывало, разыграются, то не настолько, чтобы ссориться с людьми из-за предмета обладания. Да что там предметы обладания... Впоследствии в моей жизни был эпизод, когда насиловали жену (правда, мы не были официально зарегистрированы), я и то смолчал. В отношениях с людьми я всегда старался избегать склок, боялся попасть в водоворот страстей. А что связывало меня с Цунэко? Всего лишь одна ночь. Она не принадлежит мне. И значит, нечего злиться, ничего твоего никто не отнимает. И все же я оцепенел. Я не мог не жалеть Цунэко, видя, как похотливо Хорики набросился на нее. После такой пошлой сцены Цунэко должна будет навечно расстаться со мной, а у меня не появится желание удерживать ее... Да, жалость к Цунэко заставила меня оцепенеть на миг, осознать, что пришел конец, но уже в следующее мгновение я абсолютно искренне махнул на все рукой, смотрел попеременно то на него, то на нее и только ухмылялся.

События, однако, развивались самым неожиданным образом и гораздо хуже, чем можно было предположить.

- Надоела! - Хорики скривился. - Уж на что я дерьмо, но такую занюханную девицу... - Он внезапно замолк, скрестив на груди руки и, криво усмехаясь, уперся в нее взглядом.

Я шепнул Цунэко:

- Неси еще сакэ. Но денег у нас нет.

Мне захотелось упиться, что называется, до потери сознания. "Значит что получается? В глазах какого-то плюгавого типа Цунэко настолько жалка? Недостойна поцелуя мерзкой пьяни? Это уж слишком..." На меня словно обрушились все громы и молнии; я пил и пил (никогда так не напивался), наконец, совсем захмелел. Смотрел на Цунэко, она смотрела на меня, мы горестно улыбались друг другу. "А и в самом деле, измученная она, и жалкая..." Люди без гроша в кармане легко понимают друг друга. (И в то же время - "сытый голодного не разумеет". Банальная истина, но до сих пор одна из вечных драматических тем.) В груди как будто что-то всколыхнулось: Цунэко - родной мне человек... любимая... Во мне родилось чувство любви; этот огонек был не так уж силен, но он возгорелся во мне! Это я почувствовал первый раз в жизни...

Неожиданно к горлу подступила тошнота. Что было дальше, не

помню. Впервые в жизни я напился буквально до потери сознания.

Проснулся в комнате Цунэко. Она сидела у изголовья.

- "Конец деньгам - дружбе конец"... Я думала, то была шутка, а оказалось - нет. Долго ты не появлялся... Да и расстались мы в тот раз как-то уж очень мудрено. А что, если... мы будем жить на мой заработок? Нельзя?

- Нет.

Больше она ничего не сказала. А на рассвете ее губы прошептали: "Умереть..." Бедняжка... До чего она устала от жизни... Да ведь и я... Вечный страх перед людьми, бесконечное плутание по жизненным лабиринтам, безденежье, подполье, женщины, учеба - все это пронеслось в голове и я понял: нет сил жить далее.

Я с легкостью принял ее предложение умереть вместе. Но тогда эти слова еще были лишены реальности, скорее казались игрой.

Все утро мы бродили по Асакуса. Попили молока в маленьком уютном кафе. Из рукава кимоно я вытащил кошелек, открыл его, чтобы достать денег и расплатиться - в нем нашлось только три медных монеты. Мне стало так... нет, не стыдно, - мне стало так невыносимо горько! В голове сразу же подсознательно мелькнуло: в моей комнате нет ничего, кроме форменной одежды и одеяла, закладывать больше нечего, разве лишь кимоно, которое сейчас на мне, да плащ... Вот она - реальность. И стало окончательно ясно, что жить больше я не в состоянии.

Итак, раскрыв кошелек, я замешкался. Подошла Цунэко, заглянула в него:

- Больше ничего нет?

Ничего особенного в ее голосе не было, но слова эти невыносимой болью отозвались в груди, впервые мне было так больно и от слов, и от самого голоса любимого человека... Да, ничего. Ничего нет. Только три монеты... Это совсем не деньги. Никогда я не чувствовал себя настолько униженным. Такого позора вынести невозможно. Как-никак, я был из состоятельной семьи... И тут... И тут я почувствовал реальный смысл слов "умрем вместе". И окончательно решился.

Вечером того же дня мы были в Камакура, и море приняло нас...

- Оби^[13] я одолжила у подруги на работе, - сказала Цунэко и, аккуратно сложив его, оставила на скале.

Я тоже снял плащ и положил его рядом.

Потом мы вместе вошли в воду..... Цунэко не стало, а я спасся.

Был я тогда еще только гимназистом, к тому же на меня падал отсвет отцовского величия, и потому пресса подняла довольно большой шум.

Меня положили в больницу. Приезжал кто-то из родственников, что-то где-то улаживал, сообщил мне, что отец и все остальные разгневаны и, очень может быть, откажутся от меня... - и уехал. Но это меня нисколько тогда не волновало, в другом я был безутешен - лил бесконечные слезы, оплакивая любимую Цунэко. И в самом деле, из всех живущих на земле людей я любил только жалкую Цунэко...

От студентки - коллеги по подполью - пришло длинное письмо, все написанное стихами танка^[14], каждая строка начиналась словом "Живи!".

Ко мне в палату часто заглядывали медсестры, весело улыбались, некоторые, уходя, крепкожимали руку.

В больнице обнаружилось что-то неладное в левом легком, и это оказалось мне даже на руку, потому что вскоре с вердиктом "попытка самоубийства" меня препроводили в полицию, где обходились со мной как с больным человеком, поместив даже в особую камеру.

Глубокой ночью скучавший в соседней комнате для дежурных пожилой полицейский приоткрыл дверь и окликнул меня:

- Эй, ты там не замерз? Давай сюда, ближе к печке.

Я вроде бы нехотя вошел в дежурку, сел на стул, прислонился к печке.

- Что, все горюешь по утопшей?

- Да. - Я старался говорить как можно жалостливее.

- Понятно... Человек - он чувствует... - Полицейский уселся поближе. - А где ты познакомился с этой женщиной?

Он вопрошал важно, словно судья, разговаривал пренебрежительно, как с ребенком. Мне показалось, что ему просто скучно в эту осеннюю ночь и поэтому он, придав себе значительность следователя, пытается выжать из меня что-нибудь непристойное. Это было ясно сразу, мне понадобились колоссальные усилия, чтоб подавить в себе ярость. Разумеется, я мог вообще игнорировать этот "допрос", но и сам видел в разговоре способ скоротать длинную ночь, а потому "давал показания", то есть нес вздор, который должен был удовлетворить похотливое любопытство полицейского; при этом я старался выглядеть благопристойно, изображать абсолютную веру в то, что именно это

"расследование" этим полицейским будет иметь решающее значение при определении наказания. Короче говоря, я весь был смирение и покорность.

- Так-так... В общем, все ясно... Ты учти, честные ответы дадут мне возможность помочь тебе.

- Премного вам благодарен.

Играл я вдохновенно! Впрочем, эта игра ничего мне не давала.

Когда рассвело, меня вызвали к начальнику участка и начался настоящий допрос.

- О, да ты приличный парень. Такой не способен на дурное. Тут не ты, а мать, родившая такого тебя, виновата.

Молодой смуглый начальник полицейского участка производил впечатление интеллигентного человека с университетским дипломом.

После его слов я почувствовал себя забитым, жалким, ну, как если бы полщеки у меня занимало родимое пятно, или если б по какой-нибудь другой причине у меня был отталкивающий вид.

Допрос, который провел начальник участка (наверняка неплохой дзюдоист или фехтовальщик), как небо от земли отличался от пристрастного, дотошного "допроса", учиненного пожилым полицейским.

В конце его, собирая бумаги для прокуратуры, полицейский сказал:

- За здоровьем последи. Кровью не харкаешь?

Действительно, у меня в то утро был странный кашель, и на платке, которым я прикрывал рот, виднелась кровь. Но шла она не из горла, просто под ухом вскочил прыщ, я его выдавил и запачкал платок. Однако я почему-то счел, что лучше об этом умолчать, и на вопрос начальника, потупив взгляд, ответил с поразившей меня самого невозмутимостью:

-Да.

- Возбуждать или не возбуждать судебное дело решит прокуратура. А тебе надо бы позвонить или отправить телеграмму, чтобы в Иокогамскую

прокуратуру за тобою приехали твои поручители. Есть кому за тебя поручиться?

Я вспомнил Сибату, который был моим поручителем в гимназии - отцовский прихвостень, коренастый сорокалетний холостяк, родом из наших мест, антиквар; он часто появлялся у нас в токийском доме. Отец

и я называли его Палтусом - лицо и особенно взгляд вызывали ассоциации с этой рыбой.

Тут же в участке в телефонной книге я отыскал номер этого Сибаты и попросил приехать за мной в прокуратуру города Иокогамы. Он согласился, хотя говорил со мной необычайно высокомерно.

Меня увели в соседнюю комнату. Там я случайно услышал, как начальник полицейского участка громко сказал:

- Ребята, продезинфицируйте телефонный аппарат, парень харкает кровью.

После обеда молодой полицейский обвязал меня вокруг бедер тонкой веревкой (чтобы ее не было видно, разрешили надеть накидку), крепко держа в руке ее конец, посадил в поезд и мы отправились в Иокогаму.

Как ни странно, чувствовал я себя прекрасно, мне даже приятно было вспоминать камеру, в которой провел ночь, старика-полицейского... (Отчего так?!) Преступник, связанный веревкой, я почему-то ощущал покой; даже сейчас, когда я описываю

будут памятны мне как страшные провалы моей вечной игры. И позднее я много раз думал, что лучше было бы, наверное, просидеть десять лет в тюрьме, чем ощутить на себе такой спокойный и презрительный взгляд прокурора.

Мое дело было отсрочено. Но это нисколько не радовало; света белого не видя, я сидел в комнате ожидания прокуратуры, ждал своего поручителя Палтуса.

Позади меня высоко в стене было окно, из которого виднелось закатное небо, в нем летали чайки, выписывая в воздухе иероглиф "женщина".

Тетрадь третья

Одно из пророчеств Такэичи сбылось, а другое - нет. Сбылось совсем не почетное предсказание о том, что я буду нравиться женщинам, а ошибся он, предсказывая мне будущее великого художника. Максимум, чего я достиг - был никому не известным карикатуристом в низкопробном журнальчике.

Конечно, после всего, что произошло в Кама-кюре, из гимназии меня отчислили, дни и ночи я проводил в крохотной комнатухе у Палтуса. Ежемесячно из дома приходили очень маленькие деньги, и то не на мое имя, да и под секретом (их посылали братья, кажется втайне от отца), а во всем остальном связи были разорваны.

Палтус был со мной несносен; сколько я ни угодничал - не мог от него добиться даже ответной улыбки. "Вот ведь как легко человек может измениться!" - думал я, не столько пугаясь ситуации, сколько потешаясь над ней.

"Из дома не выходить!...То есть, я хочу сказать, будьте добры, не покидайте дом." - Это единственное, пожалуй, что я от него слышал. Вероятно, он боялся, что я все еще хочу покончить с собой, опасался, как бы я снова не бросился в море вслед за женщиной. Во всяком случае, Палтус строго-настрого запретил мне выходить за порог жилища. И напрасно: я жил в такой апатии, что на самоубийство у меня духу не хватило бы. Дома ни сакэ, ни табака; с утра до ночи греюсь у жаровни в своей клетке, листаю старые журналы.

Дом Палтуса находился в районе Сокубо, недалеко от медицинского училища. Половину дома занимал антикварный магазин, над входом которого красовалась вывеска "Сэйрюэн"; фасад магазина неказистый, и внутри он весь был пыльный, на полках громоздилась всякая дребедень. (Надо заметить, что жил Палтус, конечно же, не на доходы от этой лавки, а на барыши от посреднической деятельности: постоянно что-то кому-то перепродавал.) Обычно Палтуса в магазине не бывало, с утра, предельно озабоченный, он второпях куда-то убегал, оставляя вместо себя приказчика лет 17-18, которому "по совместительству" вменялось в обязанности быть моим сторожем. Улучив момент, парнишка часто играл во дворе с ребятами в мяч; он, кажется, считал меня идиотом,

пытался даже поучать, словно малое дитя, а я, будучи в общем человеком уживчивым, подчинялся ему, делая вид, что слушаться его доставляет мне удовольствие. Паренек был сыном Сибуты (Палтуса), но почему-то Сибута, старый холостяк, считал нужным это скрывать. В детстве я что-то слышал от домашних на этот счет, но чужой личной жизнью никогда особенно не интересовался, подробностей не знаю. Интересно, что во взгляде парня тоже проскальзывало что-то рыбье, так что он вполне мог быть сыном Палтуса. Если это действительно так, то эта пара представляет собой довольно печальную семью. Вспоминается, как время от времени втайне от меня они молча поглощали лапшу, которую им приносили из ближайшего ресторанчика.

Пищу в доме Палтуса всегда готовил паренек. Аккуратно три раза в день он приносил мне в комнату поднос с едой, а сам с Палтусом ел в закуточке под лестницей; судя по частому стуку палочек о посуду, ели они всегда очень торопливо.

В конце марта Палтус неожиданно пригласил меня вечером к столу - то ли он напал на выгодное дело, то ли были тому другие причины (А может быть и то, и другое сразу, плюс и еще что-нибудь, что мне понять не дано), усадил за стол, на котором я заметил редкую в его доме бутылочку сакэ, сасими^[15] из тунца, и, сам в восторге от своего гостеприимства, предложил мне, скучающему иждивенцу, чашечку рисовой водки, сопроводив свой жест следующей фразой:

- Ну? Как думаешь жить дальше?

Я ничего не ответил. Выпил немного сакэ, закусил сушеной рыбкой и стал рассматривать серебристые глаза рыбешки. Хмель растекался по телу; я вспомнил вдруг, как кутил в старые добрые времена, даже о Хорики подумал с грустью. Страстно захотелось свободы, и я едва сдерживался, чтобы не заплакать.

С первого дня, как я очутился в этом доме, я стал объектом презрения Палтусова сына. Сам Палтус, судя по всему, избегал откровенного разговора со мной, в свою очередь и мне не хотелось просить его участия; за все время я ни разу не испытал желания разыграть фарс, все это время жил здесь, ну, как дебил.

- Значит так... События развиваются таким образом, что судебное дело откладывается, суда, то есть, не будет. И если есть у тебя хоть чуть-чуть желания, можешь, значит, как бы это сказать, снова возродиться. Так что, давай, если образумишься - обращай ко мне за

советом, что-нибудь придумаем.

В речах Палтуса - а, собственно, так говорят в этом мире все люди была какая-то заумь - витиеватая, туманная, позволяющая в любой момент ретироваться; такое осторожничанье, практически бессмысленное, а также мелочные торги

всегда ставили меня в тупик, я сводил такие разговоры к шутке, иначе говоря, отдавался воле других, признаваясь в собственном поражении.

Позднее я с грустью понял, что Палтус мог бы на том и остановиться, потому что не нужна никому пресловутая забота о ближнем, все это - присущая всем и непонятная мне благопристойность, не более. Палтусу тогда достаточно было сказать так: "С апреля иди в гимназию - хоть в государственную, хоть в частную. И тогда из дома будут присылать поболее денег на твоё пропитание."

Оказалось, и в самом деле в родительском доме так решили. Сказал бы мне Палтус об этом прямо - я бы прислушался к его словам. Но он вел разговор уж излишне деликатно и завуалированно, это только раздражало и привело в конечном счете к тому, что моя жизнь совсем перевернулась.

- Ну, а ежели ты не считаешь нужным советоваться со мной - то как знаешь.

- О чем советоваться? - Я и в самом деле не мог взять в толк, о чем следует с ним говорить.

- О том, что творится у тебя в душе.

- То есть?

- То есть, что ты сам собираешься делать дальше?

- Мне идти работать?

- Да нет, я говорю о твоём внутреннем настрое. Чего ты вообще хочешь?

- Вы же говорите, надо продолжать учиться...

- Для этого нужны деньги. Но дело не в деньгах, дело в твоём настроении.

Ну почему же он не сказал всего одну фразу: "будешь учиться - и из дома станут высылать деньги"? Сказал бы - и я внутренне моментально перестроился бы... Так нет же, он не сказал. А я продолжал блуждать в потемках.

- Ну что? У тебя хоть мечты какие-нибудь есть? О тебе заботятся,

стараяются, но ты, видать, никогда не поймешь, как это нелегко...

- Виноват...

- Ведь я действительно беспокоюсь о тебе. И мне, конечно, хочется, чтобы ты сам всерьез задумался. Чтобы ты доказал, что все понимаешь, начинаешь отныне новую красивую жизнь. Если бы ты подошел ко мне, поделился планами на будущее, спросил совета - я бы с удовольствием обсудил с тобой твои дела. Я человек бедный, потому, ежели ты намерен роскошествовать дальше, то ошибся адресом. Но если ты возьмешься за ум, продумаешь свою жизненную программу, поделишься со мной планами, я - ну, насколько позволят мои возможности, буду рад помочь тебе выйти на твердую дорогу. Это ты понимаешь? Так чего ж ты все-таки хочешь?

. - Если нельзя так оставаться в этой комнатке, пойду работать и...

- Ты это говоришь серьезно? В наше время даже выпускники императорского университета...

- Я ведь не собираюсь стать служащим.

- Кем же ты собираешься стать?

- Художником, - решительно выпалил я.

- Что?!

Не забыть мелькнувшее в лице Палтуса ехидство, никогда не забуду, как он захохотал, услышав мое признание. Сколько презрения было в этом хохоте! И не только презрение... Если этот наш мир сравнить с морем, то, как сквозь толщу воды можно разглядеть фантастические колеблющиеся блики, так же сквозь смех проглядывает запрятанная вглубь жизнь взрослых.

"Так дело не пойдет... Ты нисколько не желаешь задуматься о своей жизни... Подумай хорошенько... Весь вечер сиди и как следует думай..." Я убежал наверх в свою комнату, лег, стал думать, но ничего хорошего не придумывалось. А как только рассвело, убежал из Палтусова дома. Огромными иероглифами на листке почтовой бумаги я написал: "Вечером обязательно вернусь. Только схожу к другу, посоветуюсь с ним, как жить дальше, и вернусь. Так что беспокоиться не надо." Ниже приписал адрес и имя Масао Хорики. Оставив записку, тихо вышел из дома. Я не потому ушел, что мне стало невозможно от проповедей Палтуса, ведь он совершенно прав - у

меня абсолютно нет жизненной позиции, я действительно не имею понятия, как жить дальше; естественно, что я обуза в доме Палтуса, и

что это ему не нравится. И если - а вдруг! - разгорится во мне горячее желание твердо встать на ноги, и мне нужна будет для этого материальная поддержка, то ежемесячно получать деньги от малообеспеченного человека было бы неловко, выше моих сил.

И все же, если быть откровенным, я уходил вовсе не для того, чтобы обсуждать свой жизненный курс с таким субъектом, как Хорики. (Я решил оставить записку и удрать не только из желания подражать героям приключенческих романов, хотя и этот мотив, несомненно, присутствовал; здесь дело было скорее в том, что я не хотел эпатировать Палтуса, не хотел доставлять ему хлопоты - этот мотив, пожалуй, вернее. Ясно, что когда-нибудь все выйдет наружу, и тем не менее, мне не хватало смелости говорить прямо без обиняков, без приукрашиваний, а приукрашивания - печальное свойство моей натуры - в обществе именуется "ложью" и презирается. Но ведь я это делаю отнюдь не ради выгоды; просто, когда в той или иной ситуации атмосфера общения "подмораживается", я, боясь задохнуться от этого холода, прибегаю к своим отчаянным дурачествам, которые - со временем это стало очевидным были либо совсем ни к чему, либо даже шли мне во вред. Понимая, что мое словоблудие, мои дурачества проистекают от бессилия, я все же довольно часто прибегал к ним, и на этой моей черточке частенько играли так называемые "благоразумные" люди.) Тут-то в памяти неожиданно всплыл записанный на клочке бумаги адрес Хорики.

Итак, я оставил позади дом Палтуса, пешком добрался до Синдзюку, там продал несколько маленьких книжек... и остановился, не зная, что делать дальше. При том, что сам я старался быть со всеми приветливым, ничьей "дружбы" никогда не устаивался; Хорики и иже с ним - "друзья" по развлечениям, они не в счет, а во всех остальных случаях от общения оставалась только горечь, и чтобы избавиться от нее, я вынужденно разыгрывал фарсы, но все это только сильнее изматывало меня. И если случайно мне доводилось встретить знакомого, да просто человека, обликом похожего на кого-нибудь из моих немногочисленных знакомых, - меня кидало в дрожь, охватывал озноб. В общем, если я, бывало, и пользовался чьим-то расположением, то сам лишен был способности любить людей. (К слову, я вообще с большим сомнением отношусь к существованию в этом мире явления под наименованием "любовь к ближнему".) Таким образом, "дружба" была для меня

недоступной вещью в себе, и даже такой простой акт, как "дружеский визит", я не в состоянии был совершать. Ворота чужих домов вызывали у меня жуткую ассоциацию с воротами ада, за которыми меня подстерегает кровожадное чудище-дракон.

Нет у меня друзей. Не к кому идти.

Разве лишь все-таки Хорики.

Так и получилось, как написал в записке Палтусу - решился пойти к Хорики. Ни разу до сих пор не бывал у него; если надо было - телеграммой звал к себе. Сейчас, конечно, и денег для этого нет, да и уверенности, что он придет ко мне, нуждающемуся в помощи. Ничего не поделаешь... Я горестно вздохнул, сел в трамвай и покатил к нему. От сознания, что на всем белом свете только у Хорики я вынужден просить помощь, холодный пот прошибал меня.

Семья Хорики жила в двухэтажном домике в глубине грязного переуллка. Сам он обитал в маленькой (шесть татами^[16]) комнатке на втором этаже, а внизу жили старики родители, да еще молодой работник; там же они изготавливали ремешки для гэта^[17].

Хорики оказался дома. В этот день он раскрыл передо мной еще одну черточку столичного прохвоста: расчетливость, такой холодный и хитрый эгоизм, что у меня, деревенщины, глаза чуть из орбит не вылезли. О, мне, подхваченному волнами жизни, было далеко до него...

- Ну, знаешь ли, твое поведение возмутительно. И что? Простили тебя? Нет еще?

За такой "поддержкой" я бежал к нему?..

Как всегда, пришлось привирать. Опасался, правда, что он поймает меня на слове.

- Да уладится все как-нибудь... - пробормотал я, улыбнувшись.

- Ну-ну, тут не до смеха. Хочу дать тебе совет: бросай валять дурака. Извини, у меня сейчас дело, и вообще в последнее время я чрезвычайно занят.

- Какое у тебя дело?

- Эй-эй, не рви нитки на подушке!

Разговаривая, я машинально дергал бахрому по углам подушки, на которой сидел. Эх, Хорики, как ты бережешь каждую свою вещичку, даже эту несчастную ниточку на подушке! Без тени смущения он грозно, с укором уставился на меня. И я с полной ясностью осознал, что прежде он встречался со мной исключительно потому, что изымал из

этого какую-то выгоду.

Между тем старуха, мать Хорики, принесла на подносе две чашки с о-сируко^[18].

- Ой, мамуля, спасибо, - стараясь выглядеть примерным сыном, неестественно вежливо и "сердечно" обратился Хорики к матери. - Это о-сируко? Спасибо огромное! Прекрасно! Не стоило так беспокоиться... Мне ведь надо сейчас уходить... Ну, раз уж принесла, съедим, тем более, что ты большая мастерица по этой части... Как вкусно! Ты тоже попробуй. Матушка специально приготовила. Ум, какая прелесть!.. Прекрасно!..

Он сыпал словами, радовался, с непередаваемым наслаждением ел - ну прямо спектакль. Я чуть попробовал. Юшка чем-то пахивала, клецки - вообще не рисовые, а что-то непонятное. Я ни в коем разе не корю бедность. (В тот момент, кстати, я и не подумал, что угощение невкусно, меня очень тронуло внимание старой матери Хорики. А по поводу бедности, если я и испытываю какие-то чувства, то это страх, но никак не презрение.) Угощение, то, как радовался ему Хорики, многое сказали мне о холодной расчетливости столичных жителей, дали почувствовать, как четко горожане Токио делят все на свое и чужое. Для меня такого деления не существовало.

Описываю все это я для того, чтобы показать, какие унылые мысли блуждали в моей дурацкой голове, пока обшарпанными палочками я ковырял в чашке.

Все время бежавший суеты мирской, я и остался один. Даже Хорики от меня отвернулся. Полная растерянность сковала меня.

- Прости, но у меня дело. - Хорики встал и начал натягивать пиджак. Уж не обижайся.

И тут появилась гостья. Надо было видеть, как моментально Хорики преобразился, ожил.

- Как славно, что вы пришли. Как раз собирался к вам, да вот появился неожиданный визитер. Нет-нет, ничего, не беспокойтесь... Садитесь, пожалуйста.

Я поднялся, подушку, на которой сидел, перевернул на другую сторону и предложил гостье, Хорики выхватил подушку из рук, снова перевернул ее и сам подал женщине. В комнате было всего две подушки - одна для хозяина и одна для гостя.

Гостья - высокая стройная женщина - положила подушку недалеко

от двери и села.

Я рассеянно слушал, о чем они говорят. Это оказалась сотрудница какого-то журнала; давно еще она заказала Хорики то ли иллюстрации, то ли еще что-то и пришла взять работу.

- Видите ли, нам срочно надо.

- У меня готово. Давно уже. Вот, пожалуйста.

В этот момент принесли телеграмму.

Хорики принялся читать ее, и радостное оживление сменилось злобой:

- Эй ты, как это понимать? Телеграмма была от Палтуса.

- Ничего не хочу знать, немедленно отправляйся домой. Мне, конечно, надо бы проводить тебя до самых дверей твоего дома, да времени нет...

Ну, знаешь ли, удрать из дома и ходить при этом с такой невинной физиономией!..

- Вы где живете? - спросила женщина.

- В Оокубо, - неожиданно для самого себя ответил я.

- Наша редакция в том же районе.

Об этой женщине я узнал потом, что родом она из Кюсю^[19] (префектура Яманаси), ей 28 лет, живет в районе Коэндзи с пятилетней дочкой, муж умер три года назад.

- Видно, нелегким было ваше детство, все так обостренно воспринимаете... Бедненький...

...Я стал жить у нее. С утра Сидзуко уходила в редакцию, а я оставался дома с Сигэко. Прежде девочка игралась одна в комнате дежурного администратора дома, а с тех пор, как появился у них "обостренно чувствующий" дядя, с великой радостью оставалась со мной дома.

Неделю я прожил в полузабытии. Часто подходил к окну и смотрел, как на пыльном весеннем ветру трепещет зацепившийся за электрический столб искусственный змей; остались от него одни лоскуты, но змей не падал, упорно цеплялся за столб; иногда казалось, что он согласно кивает мне, и тогда я горько ухмылялся, чувствуя, как рдеет лицо. Воздушный змей мне снился даже в кошмарах.

- Нужны деньги.

- Сколько?

- Много... Говорят, конец деньгам - конец дружбе. Это правда.

- Глупости. У тебя устаревший взгляд на жизнь.

- Думаешь? Тебе не понять... Но, знаешь, если и дальше все будет, как есть, я ведь могу и сбежать.

- Что ты хочешь сказать? Это кто же так страдает от безденежья? И зачем куда-то убегать? Странные вещи ты говоришь, честное слово.

- Я хочу зарабатывать, чтобы мог сам покупать себе сакэ, ну не сакэ, так хоть сигареты. И, между прочим, рисовать я могу лучше какого-то Хорики.

И сразу в памяти всплыли те несколько автопортретов, которые я сделал еще будучи гимназистом, и которых Такэичи назвал "призраками".

Потерянные шедевры. Потерял их из-за частых переездов с места на место, а именно эти работы мне кажутся действительно стоящими. Потом я не раз писал всякие вещи, но как далеки они были от тех, ранних!.. Пустота в душе, ощущение безысходности изматывали меня. Чаша недопитой полынной настойки так | представлялось мне мое состояние, во многом вызванное никогда и ничем уже не восполнимой потерей. Недопитая чаша абсента всегда появлялась у меня перед глазами, как только речь заходила о живописи, и одна мысль жгла меня: показать бы Сидзуко те утерянные картины! Заставить бы ее поверить в свой талант!

- Ой, уморил! Все твое обаяние в том, что ты шутишь с ужасно серьезной миной.

Но я не шучу! Я говорю серьезно! Ох, если бы я только мог показать ей те картины... Мне невыносимо тяжело, и я меняю тему:

- Во всяком случае шаржи, карикатуры у меня получаются лучше, чем у Хорики.

Но, кажется, на людей убедительнее действует фарс, надувательство.

- Наверное. Когда я смотрела твои рисунки для Сигэко, не могла удержаться, прыснула со смеху. А может ты попробуешь сделать что-нибудь для нашего журнала? Хочешь, поговорю с главным редактором?

Ее фирма выпускала ежемесячный детский журнал, малоизвестный, впрочем.

"Глядя на тебя любая женщина испытывает необузданное желание что-то для тебя сделать... Ты всегда дрожишь от страха, но при этомставляешь себя комиком... Когда ты так одиноко хандришь, сострадание к тебе еще больше берedit женские души..." Еще много

другого, очень лестного говорила мне Сидзуко. Но, по мере того, как я осознавал свое отвратительное положение альфонса, ее слова угнетали меня все более и более, просветление в душе и не брезжило. "Не столько женщины, сколько деньги - вот что мне нужно, - думал я. - Во всяком случае, надо убежать от Сидзуко и зажить самостоятельно..." Чем больше я размышлял об этом, чем больше строил планов, тем, наоборот, подпадал в зависимость от Сидзуко, которая, со свойственным женщинам из Кюсю мужеством, помогала мне решать проблемы, связанные с исчезновением из дома Палтуса, многие другие. Так или иначе, в конечном счете я оказался совершенно безвольным перед Сидзуко.

Она устроила встречу с Палтусом и Хорики, во время которой подтвердилось, что с родным домом все связи оборваны, и, так сказать, официальный статус приобрело наше сожительство. Опять же благодаря хлопотам Сидзуко я смог зарабатывать рисованием, чтобы на эти деньги покупать себе сакэ и курево, но... Но хандра и подавленность только усиливались. Мне надо было рисовать комиксы для журнала Сидзуко (там из номера в номер они печатались под заголовком "Приключения мистера Кинта и мистера Ота"), но я не мог заставить себя двигать пером. Вспоминался родной дом, становилось так грустно, что, бывало, часами сидел, опустив голову, не в силах сдержать слез.

Светлым лучиком была для меня в такие минуты Сигэко; она уже запросто звала меня "папочкой".

- Папочка, а правда, если помолиться, Бог даст все, что попросишь?

Вот чего бы я сам страстно пожелал! О Боже, ниспошли мне твердость духа! Научи меня, Боже, стать обычным человеком! Когда один человек пинает другого - это ведь не считается грехом... Так сделай злым и меня!

А на вопрос девочки я отвечаю:

- Правда... Тебе, детонька, Бог даст все, что попросишь, а вот папочке может и не будет Божьей милости.

А ведь я боялся Бога. В его любовь не верил, но неизбежности кары Божьей боялся. Вера, казалось мне, существует для того, чтобы человек в смирении представал пред судом Господним и принимал наказание Божьими плетями. Я мог поверить в ад, но в существование рая не верил.

- А почему папочке не будет Божьей милости?

- Потому что я не слушался родителей.

- Да? А все говорят, что ты очень хороший человек.

Так ведь это потому, что я всех обманываю. Да, я знал, что в этом доме все хорошо ко мне относятся. Но как я сам всех боялся! И чем более боялся, тем лучше ко мне относились, однако от этого мне становилось только страшней. Я должен от всех удалиться! Ну как мне объяснить Сигэко эти мои несчастные болезненные наклонности?!

- Детка, а о чем ты хочешь просить Бога? - Я попытался изменить направление разговора.

- Я... я хочу настоящего папу.

Сердце чуть не разорвалось. Кружится голова. Враги... Я - враг Сигэко? Она - мой враг? И здесь кто-то страшный стоит на моем пути - чужой, неведомый, неразгаданный... Я сразу прочел это на лице девочки.

Радовался, что у меня по крайней мере есть Сигэко, и вот... Значит, и у Сигэко, оказывается, есть "хвост, которым можно удавить овода". С тех пор и при виде девочки я чувствовал, что страх сжимает меня.

- Эй, ловелас, ты дома? - услышал я однажды. Хорики. Он решил снова зайти. А ведь так обидел меня, когда, убежав от Палтуса, я пришел к нему - и что ж? - я, безвольный, встречаю его, смущенно улыбаясь.

- Знаешь, а твои комиксы пользуются успехом. Только это еще ничего не значит, дилетанты нередко удивляют бесстрашной удалью. Имей в виду, твои наброски далеко-далеко не совершенны.

Он и тон взял с самого начала менторский. "Что бы он сказал, если б я показал ему "привидения"? - снова пронеслось в голове.

- Помолчи лучше, а то начну плакаться... - пробормотал я.

Хорики заметил еще более важно:

Жить-то ты умеешь. Но гляди, чтобы король не оказался голым.

Жить умеешь... В ответ я мог только ухмыльнуться. Это я-то умею жить?!.. Да не уж-то жить как я - бояться людей, бежать их, обманывать равнозначно тому святому соблюдению хитроумной заповеди, выраженной известной поговоркой "Не тронь Бога - и он не тронет тебя"?

Ох, люди!.. Вы же совсем друг друга не понимаете; считаете кого-то своим лучшим товарищем, в то время как ваше представление о нем совершенно неверно; когда же умирает этот ваш друг, вы рыдаете над

его гробом, произнося какие-то славословия. Эх, люди...

Хорики, будучи свидетелем всех событий, связанных с побегом из дома, выступал то в роли великого благодетеля, направляющего меня на путь истинный (несомненно, шло это от настойчивой Сидзуко, против его собственной воли), то преподносил себя как сваху, но всегда, соорудив благообразную гримасу, читал нравоучения. Стал пьяным, приходил к нам поздно ночью и оставался ночевать; не раз одалживал пять (всегда только пять!) йен.

- Ты, парень, баловство с бабами прекращай. Общество тебе этого не простит.

А что такое общество? Что это еще кроме скопления людей? Можно ли "общество" охватить взглядом, пощупать? До сих пор я жил и думал о нем, как о чем-то определенном, наделенном силой, жестоким и страшным. Услышав, как об обществе рассуждает Хорики, я еле утерпел, чтобы не сказать: "Уж не ты ли - общество?", - но промолчал, не хотел злить его. Только позволил себе мысленно поспорить с ним:

"Не общество, ты не простишь."

- Если не исправишься, много неприятного доставит тебе общество.
"Не общество, ты."

- Оно погребет тебя.

"Не оно, ты погребешь меня."

"О, если б ты только мог представить себе, какая ты страшная сволочь, подонок, гнусный старый лис, ведьма!.." - пронеслось в моем воспаленном мозгу, но вслух я сказал:

- Уф, холодным потом прошибло. - И даже улыбнулся, вытирая платком лицо.

С тех пор я стал укрепляться во мнении, что общество и отдельный индивидуум в чем-то тождественны.

И вот тогда же, начав смотреть на общество как на индивидуум, я почувствовал, что в значительной большей степени, чем прежде, приучаюсь жить по своей воле. Или, как сказала Сидзуко, я стал самим собой, перестал бояться всего и всех. Ну а Хорики заявил, что я - ничтожество. Сигэко показалось, что я стал меньше ее любить.

Отныне изо дня в день я работал - молча, сосредоточенно, не позволяя себе даже улыбнуться. И одновременно присматривал за девочкой. В то время я был занят работой над сериями комиксов с дурацкими бессмысленными названиями: "Приключения мистера Кинта

и мистера Ота", "Беспечный монах" явное подражание популярной серии "Беспечный папаша", "Вертявый Пин-чян". Это были заказы разных фирм (кроме фирмы Сидзуко, несколько других, выпускавших еще более пошлую продукцию, время от времени давали мне заказы), работал в ужасном расположении духа, вяло (я вообще рисую медленно), работал, собственно, только ради сакэ, и когда Сидзуко возвращалась домой, я тут же бежал к станции Козэндзи и в первой попавшейся забегаловке пил дешевое крепкое сакэ. После него на душе становилось легче, и я возвращался домой.

- А знаешь, - говорил я Сидзуко, - смотрю на тебя и думаю: странная у тебя физиономия. Лицо этого "беспечного монаха" - это ведь я с тебя взял, это твоя физиономия, когда ты спишь.

- А у тебя, когда спишь, лицо совсем старое. Как у сороколетнего.

- Из-за тебя. Ты из меня соки высосала.

"Эх, течет река...

Что ты, ива грустная

На берегу речном..."

- Тихо, не шуми. Ложись-ка спать. Есть не хочешь? - Сидзуко спокойна, старается избежать ссоры.

- Вот сакэ бы еще выпил.

"Эх, течет река...

Что ты на берегу речном..."

Не, не так.

"Что ты, ива грустная

На берегу речном..."

Я пою, Сидзуко снимает с меня одежду, я кладу голову ей на грудь и засыпаю.

И так каждый день. Каждый мой день.

" И завтра живи так же.

Не стоит жизни строй менять.

Избегнешь радостных страстей

Не будет и печальных.

Огромный камень на пути

Мразь-жаба огибает."

Это стихи французского поэта Ги Шарля Круэ в переводе Уэда Бин

[\[20\]](#). Когда прочел их, почувствовал, как пылает мое лицо.

Жаба.

Это ведь я. Неважно, простит меня общество, или не простит. Неважно, погребет оно меня, или нет. Важно, что я мерзостнее собаки и кошки. Я жаба. Ползучая тварь.

Я стал больше пить. Уже не только в забегаловках у ближайшей к дому станции Коэндзи, но и в центре Токио. Уезжал в Синдзюку, на Гиндзу, иногда даже оставался там в дешевой гостинице до утра. Я старался сменить "строй жизни", вел себя в барах вызывающе, целовал всех подряд; я окунулся в запой - так же, как перед попыткой суицида (когда утонула Цунэко), да нет, еще сильнее, чем тогда. Горло не просыхало от сакэ и, будучи стеснен в деньгах, дошел до того, что стал уносить из дома одежду Сидзуко.

С того времени, когда я, горько улыбаясь, глядел в окно на разодранный в клочья воздушный змей, прошло больше года. Весенним днем (уже стали появляться листья, цвела сакура) я в очередной раз заложил в ломбард нарядный пояс и нижнее кимоно Сидзуко, деньги пропил в барах на Гиндзе, две ночи не ночевал дома, на третий день вечером с мыслями, соответствовавшими мрачному настроению, направился домой. Очень тихо прошел в квартиру и остановился перед комнатой Сидзуко. Оттуда доносился ее разговор с дочерью:

- А зачем тогда он пьет?

- Видишь ли, детка, папа пьет не оттого, что любит пить. Он очень, очень добрый человек, и именно поэтому...

- А что, все добрые люди пьют?

- Не совсем так, доченька...

- Ой, как он удивится! Правда, мама?

- Ему может и не понравиться... Гляди, гляди, он выскочил из коробки.

- Как "вертлявый Пин-чян", правда, мама?

- Да, похож.

Сидзуко засмеялась своим низким голосом, и столько неподдельной радости я услышал в нем!

Чуть приоткрыл дверь и заглянул в щелку: по комнате прыгал зайчонок, мать и дочь гонялись за ним.

"Они сейчас обе счастливые. Но стоит только мне, дураку, зайти - и их радость моментально развеется... До чего же они прекрасны - и мать, и дочь. О Боже, если ты можешь внять молитве такого, как я - прошу тебя, дай им счастья! Один раз, раз только услышь глас мой! Умоляю

тебя!"

Я еле сдержал порыв сесть на колени и молитвенно сложить ладони. Тихо прикрыл дверь и ушел. Пошел на Гиндзу и более в этом доме не появлялся.

Вот... Потом опять играл роль альфонса - нашел приют в маленьком баре, каких множество в районе Кебаси.

Общество. Кажется, мне все же удалось, наконец, в какой-то мере постичь смысл этого понятия. Всего-навсего соперничество индивидуумов, соперничество сиюминутное и конкретное, в котором каждый непременно стремится победить вот что это такое. Человек никогда так просто не подчинится другому человеку; раб - и тот старается одержать победу, хотя бы ценой низкого раболепия. Вот почему люди, чтобы выжить, не могли придумать ничего лучше, кроме как перегрызать друг другу горло. На словах ратуют за что-то великое, но цель усилий каждого - "я" и снова "я". Проблемы общества - это проблемы каждого "я", океан людей - не общество, это множество "я".

Придя к таким выводам, я несколько освободился от страха перед этим иллюзорным океаном, прежняя тревога больше не глодала меня, бесконечно и по всякому поводу я в какой-то степени научился хитрить, так сказать, в соответствии с нуждами текущего момента.

Итак, у меня больше нет дома около станции Коэндзи, теперь я перешел жить к хозяйке бара в Кебаси.

- К тебе пришел от нее.

Этих слов было достаточно, раунд завершился, и с той ночи я оставался спать у "мадам" на втором этаже ее бара. Но общество, казавшееся мне прежде таким страшным, не обрушилось на

меня с нареканиями, и не возникало необходимости в чем-либо перед кем-либо оправдываться. "Мадам" хочет так - и ладно.

Я был вроде и клиентом этого заведения, и его хозяином, мальчиком на побегушках, и одновременно как бы родственником владелицы. Станным субъектом я должен был показаться со стороны - но нет, я оставался вне подозрения "общества", даже наоборот, постоянные клиенты бара относились ко мне очень тепло, часто ласково подзывали и предлагали выпить вместе.

Постепенно настороженность к людям исчезала. Я стал думать, что они вовсе не так страшны. Дело состояло, видимо, в том, что мучавший меня до сих пор страх был сродни, так сказать, "научным суевериям". В

весеннем воздухе миллионы микробов коклюша, в банях миллионы бактерий, вызывающих слепоту, миллионы их, вызывающих облысение, в парикмахерских; кишат чесоточными клещами кожаные поручни в электричках; в рыбе, когда едим ее сырой, в непрожаренной говядине или свинине обязательно есть личинки солитера, дитомы, яйца других паразитов; никто не застрахован от того, что в ногу могут попасть осколки стекла, которые, пройдя через все тело, окажутся в глазном яблоке и вызовут потерю зрения, и так далее, и тому подобное... И ведь действительно, то, что мириады самых разных бактерий, микробов, вирусов кишат вокруг нас, научно вполне достоверно. В то же время ясно, что если их существования просто не замечать, то и дела нет до этих микроорганизмов, и все сказанное - не более, чем "научный мираж", то есть ничто. А как угнетали меня некоторые превратные представления, как я томился из-за них! Например: в чашке остаются недоеденными три рисинки, и так у миллиарда людей - это значит, выбрасываются мешки риса! Или еще: если бы каждый человек экономил в день по бумажному платку - сколько бы сохранилось древесины! Эта "научная статистика" так пугала меня, что, оставляя крупинку риса или высмаркиваясь в бумажный платок, я каждый раз чувствовал себя великим преступником, напрасно переводящим горы риса и древесины. Оставим в стороне эту "теорию трех рисинок", эту ложь, закрепленную наукой, статистикой, математикой; взглянем на вещи с точки зрения теории вероятностей. Вот примеры совершенно примитивные, даже идиотские: Как часто в неосвещенной уборной человек может оступиться и упасть в очко? На сколько человек выпадает случай, когда пассажир у края платформы на железнодорожных станциях делает неверный шаг и попадает на рельсы? Дурацкие расчеты, но ведь теоретически все это возможно. И все же ни разу не доводилось мне слышать о том, чтобы кто-то повредился, сидя над очком. Так вот я, который вчера еще всю эту дребедень со страхом воспринимал как "научно-гипотетическую", более того, как реальную, - сегодня я жалею себя, вчерашнего, я сам себе смешон. Так или иначе, мои мысли об этом мире и людях стали приобретать какую-то стройность.

И тем не менее, я продолжал опасаться людей, без чашечки сакэ не смел приблизиться к клиентам бара. Было страшно, но это-то мне и требовалось. Как дети, бывает, трепеща от страха, крепко прижимают к

себе щенка, так и я входил робко в бар, выпивал чашечку-другую сакэ, постепенно смелел и начинал разглагольствовать перед посетителями об искусстве.

Художник, рисую комиксы. Притом художник абсолютно без имени. Великих радостей не знаю, как, впрочем, и великих печалей. Конечно, душа моя жаждала буйных радостей, пусть даже ценой страшных печалей, но было только то, что было: сиюминутная "лжерадость", пустая болтовня с клиентами бара, сакэ за их счет.

Такая пошлая жизнь тянулась почти год. Мои рисунки печатались не только в детских журналах; под хитрым псевдонимом Дзеси Икита^[21] в низкопробных журналах, продававшихся на вокзалах, помещались мои непристойные рисунки, иногда рядом печатались рубайи.

В вине я вижу алый дух огня
И блеск иголок. Чаша для меня
Хрустальная - живой осколок неба.
"А что же Ночь?" - "А Ночь - ресницы Дня.,
Будь мягче к людям! Хочешь быть мудрей?
Не делай больно мудрости своей.
С обидчицей-Судьбой воюй, будь дерзок,
Но сам клянись не обижать людей!
Проходит жизнь - летучий караван.
Привал недолог... Полон ли стакан?
Красавица, ко мне! Опустит полог
Над сонным счастьем дремлющий туман.
Добро и зло враждуют: мир в огне.
А что же небо? Небо в стороне.
Проклятия и яростные гимны
Не долетают к синей вышине.
"Мир громоздит такие горы зол!
Их вечный гнет над сердцем так тяжел!"
Но если б ты разрыл их! Сколько чудных
Сияющих алмазов ты б нашел!
Мир я сравнил бы с шахматной доской:
Тот день, ту ночь... А пешки? - Мы с тобой.
Подвигают, притиснут - и побили.
И в темный ящик сунут на покой.
Ты обойден наградой? Позабудь.

Дни вереницей мчатся? Позабудь.
Небрежен ветер: вечной Книги Жизни
Мог и не той страницей шевельнуть...
Подвижники изнемогли от дум.
А тайны те же сушат мудрый ум.
Нам, неучам, сок винограда свежий,
А им, великим, - высохший изюм!
Ночь на земле. Ковер земли и сон.
Ночь под землей. Навес земли и сон.
Мелькнули тени, где-то зароились
И скрылись вновь. Пустыня... тайна... сон.
Один припев у Мудрости моей:
"Жизнь коротка, - так дай же волю ей!
Умно бывает подстригать деревья,
Но обкорнать себя - куда глупей!"
Все радости желанные - срывай!
Пошире кубок Счастья подставляй!
Твоих лишений Небо не оценит.

Так лейтесь, вина, песни, через край!^[22]

В это время в моей жизни появилась молодая девушка, которая все пыталась уговорить меня бросить пить.

Семнадцати-восемнадцатилетняя Ё-чян (так ласково ее звали все вокруг) торговала табаком в киоске напротив бара. Она была не лишена привлекательности, отличалась белизной кожи, лишь кривые зубы портили ее лицо.

Каждый раз, когда я приходил за сигаретами, она говорила:

- Нехорошо это, каждый день прямо с утра выпивши.

- Почему плохо? Что тут дурного? Дитя человеческое, пей сакэ, выпей все, что есть, и погаси в себе ненависть!.. А вот древние персы говорили, что... Ну ладно, шут с ними... Вот так вот... А еще, знаешь, так говорят: дабы вселить надежду в измученную истосковавшуюся душу, надо выпить хорошую чарку и захмелеть... Поняла?

- Не-а.

- Ну и черт с тобой. Сейчас поцелую тебя.

- Пожалуйста, - она нисколько не засмушалась. Наоборот, в ожидании поцелуя выпятила нижнюю губу.

- Дура... Нетронутая же... От нее и в самом деле веяло

незапятнанностью, целомудрием.

Как-то январским морозным вечером, конечно же, будучи во хмелю, я свалился в люк рядом с киоском. Позвал на помощь Ё-чян, она пришла, помогла выбраться, забинтовала изрядно пораненную правую руку и как-то очень проникновенно сказала:

- Слишком много пьете...

Я и сам, пока она промывала и бинтовала рану, подумал, что пора с алкоголем кончать; я ведь не переносу ран, крови, по мне лучше умереть, чем стать калекой.

- Не буду, - пообещал я. - С завтрашнего дня ни капли.

- Правда?

- Сказал же: брошу... А тогда замуж пойдешь за меня? - спросил я в шутку.

- А то нет, - совершенно серьезно ответила она.

- Ну тогда все. Теперь уж как не бросить...

И, конечно же, на следующий день я опять чуть ли не с утра был под хмельком.

Вечером вышел прогуляться. У киоска остановился.

- Ё-чян, извини, опять пил...

- Ой, как не стыдно! Зачем притворяться пьяным?

В груди что-то сжалось, и хмель моментально прошел.

- Я не притворяюсь. Я в самом деле пил.

- Не надо смеяться надо мной. - Она несколько не сомневалась, что я трезв и шучу.

- Да ты взгляни хорошенько, полдня сегодня пил. Простишь меня, а?

- Ну вы прямо настоящий артист.

- Какой артист, дурочка. Дай я тебя поцелую.

- Поцелуйте.

- Нет, не имею права. Да и о женитьбе не буду думать. Посмотри на меня. Лицо красное? Это потому что выпил.

- Нет, это вы на солнце стоите. Нечего врать мне, ведь сами вчера пообещали не пить. Врете вы все, неправда, что пили. Неправда, неправда, неправда!

В полутьме киоска белеет улыбающееся лицо Ё-чян. Бог мой, ну разве можно не преклоняться перед ее чистотой, девственностью! До сих пор у меня ни разу не было женщины моложе меня. Женюсь. Будь что будет. Самые страшные несчастья вынесу, но хоть раз испытаю

величайшую радость. А я-то думал, что слова о красоте, чистоте - сантименты глупых поэтов... Нет, жива красота. Она существует в этом мире! Мы поженимся, весной на велосипедах поедем любоваться водопадом Аоба - водопадом Молодой Листвы. Я решился. В этом раунде я не колебался, отважился сорвать для себя цветок.

И, действительно, вскоре мы поженились. И хотя радость моя тогда не была чрезвычайной, последовавшие за ней горести иначе как чудовищно жестокими не назовешь. То, что приключилось далее, даже вообразить невозможно. Воистину этот мир был для меня непостижим и страшен. Следующий мой раунд оказался далеко не банальным...

Хорики и я. Мы презирали друг друга, без конца огрызались, но встречи наши продолжались; если общество такие отношения называет "дружбой", то, следовательно, мы "дружили".

"Мадам" из бара на Кебаси в данном случае проявила рыцарское благородство (по отношению к женщине словосочетание "рыцарское благородство" звучит довольно непривычно, но я из собственного опыта знаю, что женщины наделены такого рода благородством куда чаще, чем мужчины, столичные, во всяком случае. Мужчины щитом рыцарского благородства обычно прикрывают трусливость и жадность): не без поддержки "мадам" я смог зажить с Ёсико^[23], снять комнату на первом этаже деревянного двухэтажного домика в Цунэдзи, на берегу реки Сумида. Я бросил пить и всецело отдался делу, которое стало моей профессией - рисовал комиксы. После ужина мы часто ходили в кино, по пути домой заглядывали в кафе, бары, покупали и разводили в доме комнатные цветы. Самое же главное - я наслаждался тем, что говорила моя маленькая жена, тем, что и как она делала, во всем ощущал ее огромное доверие ко мне. Мне казалось, что я стою на пороге новой жизни - постепенно становился человеком "как все", душу согревала сладкая мысль о том, что

впереди нормальная жизнь, что не придется подыхать скотской смертью.

Но тут снова появился Хорики.

- Здорово, потаскун. Да ты, никак, брезгуешь со мной разговаривать? А я к тебе с приветом. От дамы с Коэндзи. - Он внезапно понизил голос и вопросительно посмотрел на Ёсико, готовившую чай: мол, можно ли говорить при ней?

- Ничего, говори, говори, - успокоил я его.

Ёсико была, если так можно выразиться, гениально доверчива. Про "мадам" с Кебаси я ей, конечно, говорил, рассказывал даже о том, что произошло в Камакуре, и она ничуть не ревновала меня к Цунэко. И не в том дело, что я мастер затуманивать мозги; даже в тех случаях, когда я откровенничал перед ней, она все принимала за шутку.

- Ну что, по-прежнему задираешь нос? А дама, между прочим, просила передать, что мог бы и навещать ее изредка, ничего предосудительного в этом нет.

Я ведь уже стал забывать прошлое, ан нет - прилетело чудовище, крыльями захлопало, острым клювом разбередило рану. И во всей жуткой правде предстали перед моими глазами позор и преступления прошлого, меня словно ледяной водой окатило; снова стало так жутко, что я чуть не застонал, так тошно, что не мог себе места найти.

- Давай выпьем, - сказал я.

- Давай, - ответил Хорики.

Я и Хорики. Да ведь мы одного поля ягоды. Мне и раньше казалось, что мы похожи как две капли воды. Я имею в виду, конечно, те времена, когда я болтался с ним по забегаловкам, пил дешевое сакэ. В самом деле, находясь рядом, мы очень походили на двух собак одной породы, и, опять же, как собаки, слонялись по заснеженным улицам.

Наши встречи возобновились, снова мы вместе стали захаживать в памятный маленький бар на Кебаси, а потом две пьяные собаки стали посещать Сидзуко, а иногда и останавливались у нее на ночь, вместе уходили оттуда...

Никогда не забуду одну душную летнюю ночь.

Когда еще только смеркалось, появился Хорики в потрепанном летнем кимоно и стал рассказывать, что попал сегодня в какую-то особую ситуацию, был вынужден снести в ломбард свой костюм, и если об этом узнает мать, будет плохо, поэтому он хочет поскорее выкупить его... Короче, он просил денег. Как назло, у нас их тоже не было, я велел Ёсико заложить ее одежду (это было нам не впервой). Часть денег дали Хорики, а на оставшиеся медяки послали Ёсико за сивухой. Потом вдвоем с Хорики поднялись на крышу и устроили там посиделки на свежем, если так можно его назвать, воздухе; время от времени его еле заметное

движение доносило зловоние со стороны реки Сумида.

В то время мы увлекались игрой в трагикомические слова. Это мое

изобретение и суть его в том, что, подобно делению существительных на имена мужского, женского и среднего рода, возможно их деление на комические и трагические. Так, пароход и поезд - трагические, трамвай и автобус комические имена существительные. Как это понимать? Кто этого не чувствует, тот не способен рассуждать об искусстве, а ежели драматург в комедию вставит хоть одно трагическое слово, в трагедию, наоборот, комическое - он не достоин имени писателя.

- Ну что, начнем? Табак, - говорю я.

- Трагедия (то есть трагическое слово), - моментально отвечает Хорики.

- Лекарство?

- Порошок или таблетки?

- Инъекция.

- Трагедия.

- Ты думаешь? Бывают инъекции гормонов.

- Нет-нет, без сомнения, трагедия. Ты подумай: во-первых предполагается наличие иглы... Да ну, что говорить, это прекрасное трагическое существительное.

- Ладно, будь по-твоему. И все равно, лекарства и врачи - это, как ни странно, комедия (то есть комические слова). Так. Пойдем дальше. Смерть?

- Комедия. Пастор, буддийский монах - все одно, все комедия. Что, не так?

- Браво! Тогда, значит, жизнь - трагедия?

- Нет, тоже комедия.

- Ну, так не пойдет. Тогда все будет комедией.

- Ну ладно... А вот такое слово: карикатурист. Это уже не комедия, а?

- Трагедия! Великая трагедия!

- Ну, великая - это про тебя.

Как ни печально, такими дешевыми остротами обычно заканчивалась наша игра. Но, я гордился своим изобретением, самодовольно полагая, что ни в одном престижном салоне никогда не знали столь изящного развлечения.

Я придумал в то время еще одну игру, похожую - в антонимы. Антоним слова "черный" - "белый", но антоним "белого" - "красный", а для "красного" - "черный".

- Антоним к слову "цветок". - предлагал я Хорики.

Он кривил губы, думал вслух:

- М-мм... Есть такой ресторан: "Цветок и луна"... "Луна", может быть?

- Нет, не пойдет. Это синонимы. "Звезда" и "фиалка" тоже синонимы. Что, не согласен? Явные синонимы, никак не антонимы.

- А, нашел! "Пчела"!

- "Пчела"?

- А к слову "пион", например, - "муравей".

- Э, ты уже мыслишь сюжетами. Нечестно.

- Придумал, придумал! "Облака" - вот антоним к "цветку".

- "Облака" - антоним к "луне", а не к "цветку".

- А, ну да, точно. "Цветок сдувается ветром"^[24]. Значит, "ветер" - антоним к "цветку".

- Неинтересно. Это из старинных осакских сказов. Отсюда, кстати, ясно, где ты родился.

- Нет, моя родина - Бива.

- Ну, тем более... Антоним к слову "цветок" - это... Ну, в общем, надо найти то, что дальше всего отстоит от цветка.

- Вот поэтому я и... Стой-ка, погоди...

- А "Женщина"!

- Ладно. А синоним к "женщине"?

- "Потроха".

- Ну-у, ты, брат, не поэт... Ладно. Антоним к "потрохам"?

- "Коровье молоко".

- Это уже любопытно. Так, давай еще в том же духе. "Позор". Антоним к словам "позор", "стыд"?

- "Бесстыдство". "Модный художник-карикатурист, автор комиксов Дзеси Икита".

- А Масао Хорики - что?

Стоп. Дальше уже не до шуток. Подступил хмель - тот, особый, от дешевого низкосортного сакэ, когда кажется, что голова набита осколками стекла и на душе противно.

- Болтай, да знай меру. Меня хоть не сажали в кутузку, уж этого позора, в отличие от тебя, я не знаю.

Я обомлел. Значит, в душе Хорики не считает меня человеком, видит во мне только жалкого самоубийцу, которому не удалось умереть, значит, он видит во мне кретина, не ведающего стыда, я в его глазах - живой труп?! И нужен я ему исключительно для его собственных удовольствий? На этом, значит, зиждется наша "дружба"? Само собой разумеется, мысли далеко не радостные... Но ведь в том, каким он видит меня, есть свой резон: всю жизнь я жил как ребенок, недостойный дорасти до человека, так что презрение Хорики справедливо... Помолчав немного, я невинным тоном спросил:

- А "вина", "преступление", "грех" -какие к этим словам антонимы? Непростая задача...

- Разумеется, "закон", - очень спокойно ответил Хорики.

Я внимательно взглянул на него. Мигавшая на доме напротив неоновая реклама бросала крас

ный отсвет на лицо Хорики, и может быть поэтому оно казалось воплощением самоуверенного достоинства; такие лица характерны для сыщиков, милосердием не отличающихся.

В сильном возбуждении я сказал:

- Нет, погоди. Я имею в виду "преступление" в широком смысле.

Общепринято думать, что преступлению противостоит закон. Неужели, действительно, для всех все так просто? Все верят в свою непричастность к злу и полагают, что преступники кишмя кишат там только, где в лице полиции отсутствует дух законности?

- Ну ладно, - сказал Хорики. - А вот такое слово: "Бог". В тебе, кстати, есть что-то от распятого... или от монаха...

- Нет, погоди. Давай подумаем еще немного над "преступлением". Ведь интересная тема, а? Мне кажется, мнение на этот счет полностью раскрывает человека.

- Ну, скажешь... Антоним к "преступлению" - "добро". "Добропорядочный гражданин". Как я.

- Шутки в сторону. "Добро" - антоним к "злу", а не к "преступлению", "прегрешению".

- А что, "зло" и "преступление" - не равноценные понятия?

- Думаю, нет. Понятия добра и зла - выдумка людей. Как и понятие "нравственность".

- Надоел... Тогда... Не, давай все-таки про Бога. Все упирается в Бога, и здесь двусмысленностей быть не может... Жрать хочется.

- Ёсико внизу готовит конские бобы.

- А-а. Хорошо, я их люблю. Хорики лежал на спине, положив под голову руки.

- Тебя, видно, тема "преступления" совсем не волнует, - не удержался я.

- Само собой. Я ведь, в отличие от тебя, не преступник. Хоть и развратничаю, но женщин не гублю и денег у них не вымогаю.

Но ведь и я не губил никого! И денег не вымогал!

Слабое и одновременно отчаянное сопротивление начало было разрастаться во мне, но - о, мой скверный характер! - я моментально перестроился: да, действительно, я подлый человек.

Почему-то я совершенно лишен способности открыто сопротивляться... Паршивое сакэ подействовало на меня угнетающе, и я ощущал, как с каждым мгновением подавленность растет; тогда, пытаясь совладать с собой, я заговорил, обращаясь больше к самому себе, чем к собеседнику:

- Но ведь быть посаженным в тюрьму еще не значит быть преступником... Мне кажется, если знаешь антоним к слову "преступление", то сумеешь ухватиться и за сущность самого понятия. Бог... Спасение... Любовь... Свет... Есть "Бог" и к нему есть "сатана", для "спасения" антоним "мучения", возможны пары: "любовь" - "ненависть", "свет" - "тьма", "добро" "зло"... Но: "преступление", "прегрешение" - "молитва", "преступление" "раскаяние", "преступление" - "самопризнание", "преступление" -... Хотя нет... Все это - синонимы. А что же антоним?

- Противоположным словом к "преступлению" будет "мед"^[25]. Ведь оно еще и сладостно, как мед... Ну ладно, закончим. Жрать хочется. Принеси чего-нибудь.

- Можешь и сам пойти взять! - Наверное впервые в жизни в моем голосе открыто прозвучала злость.

- Ладно, пойду. И совершим внизу вместе с Ёси-чян "преступление". Говорить - хорошо, а действовать - лучше. Значит так, антоним к слову "преступление" - "медовые бобы", ой нет, "конские бобы"...

Хорики был пьян настолько, что еле ворочал языком.

- Делай что хочешь, только убирайся.

- "Преступление" и "голод", "голод" и... "конские бобы"... А, нет, это синонимы... - Лопоча какую-то белиберду, Хорики пошел вниз.

"Преступление и наказание", Достоевский. В подсознании молниеносно всплыло название романа. А что, если господин Достоевский поставил эти слова не в синонимическом ряду, а в антонимическом? Это понятия абсолютно разные, они несовместимы, как лед и пламень. Не иначе, Достоевский воспринимал эти слова как антонимы... Словно спутанные зеленые водоросли, словно затянутый тиной пруд, хаотичен он в своей глубине... Да, кажется, я начинаю что-то понимать... А впрочем... Как картинки в калейдоскопе, мелькали в голове разные мысли. И вдруг появляется Хорики, взбудораженный, не своим голосом кричит:

- Ну-ка, иди погляди! Погляди на конские бобы! Ну, скорее!

Хорики только что, минуты еще не прошло, спустился вниз, но тут же прибежал назад.

- Ну что там? - спросил я.

Мы ошалело бросились с крыши на второй этаж, оттуда вниз, к моей комнате, и по дороге, на лестнице Хорики приостановился и прошептал, указывая на комнату:

- Гляди туда.

Через открытую форточку просматривалась вся комната. В ней, даже света не погасив, копошились двое... животных.

В глазах почернело, закружилась голова. "Вот они, люди... Вот они каковы, люди... Надо ли чему-нибудь удивляться?" - тяжело дыша, без конца повторял я мысленно, не в силах сдвинуться с места, забыв, что должен выручать Ёсико.

Хорики громко кашлянул.

Мне не хотелось никого видеть, я побежал на крышу, бросился навзничь, уперся взглядом в дождливое ночное небо. Мною овладели не гнев, не отвращение, не тоска даже, а жуткий, невыразимый страх - ужасней, чем тот, что навевают на кладбище мысли о привидениях; обуявший меня ужас напоминал безрассудный трепет предков, когда перед их глазами под храмовыми криптомериями появлялись синтоистские божества в белом.

С той поры я начал сидеть, во мне не осталось ни толики уверенности в себе, мнительность становилась все более острой, несбыточными представлялись какие-либо надежды, радости, сочувствие.

Это событие стало роковым, я был ранен настолько, что отныне

каждая встреча с кем бы то ни было отзывалась мучительной болью.

- Я тебе, конечно, сочувствую, но ты получил хороший урок. Все, больше ноги моей здесь не будет. Ад какой-то... Ну, а Ёси-чян ты уж прости, сам-то каков... Ну, пока.

И это - болван Хорики, который имел обыкновение подолгу торчать там, где ему делать нечего?

Я выпил еще, потом заплакал - горько, навзрыд; плакал долго и хотелось плакать бесконечно.

Спустя какое-то время я почувствовал, что сзади стоит Ёсико. Она держала блюдо с бобами, вид у нее был совершенно отрешенный.

- Он обещал, что ничего не будет делать со мной...

- Ладно. Молчи. Ты никогда не могла подумать о ком-либо плохо. Садись, ешь бобы..

Мы сидели рядом и молча ели.

О-о! Неужели и доверчивость - преступление?

Изнасиловавший Ёсико тридцатилетний коротыш уже бывал у нас прежде, заказывал комиксы; гадкий коммерсант! С каким высокомерием он швырял за работу жалкие гроши!.. Как и следовало ожидать, с того дня он больше не появлялся в нашем доме.

Не могу объяснить почему, но в ту бессонную ночь, да и потом я яростно стонал, будучи зол не столько на этого самца, сколько на Хорики, который не удосужился кашлянуть сразу в тот момент, когда увидел эту гнусную картину, зато не поленился специально подняться за мной на крышу, дабы и мне показать ее.

Прощать, не прощать - какая разница? Ёсико - доверчивый зверек, просто-таки талант в своем роде. Она всегда всем безоговорочно доверялась. И в этом ее трагедия.

Бога вопрошаю: доверие - преступно?!

Долго мою душу терзало не само надругательство над Ёсико, а то, что поругана ее доверчивость, терзало так, что жить было тошно. Меня, безобразно пугливого, заглядывающего в глаза каждого встречного, чтобы уловить его настроение, меня, напрочь потерявшего способность верить людям - меня незамутненная доверчивость Ёсико освежала как брызги водопада "Молодые листья". И вот одна ночь превратила ее в помойку. С того вечера Ёсико болезненно стала следить за моим настроением. Стоило мне окликнуть ее, как она вздрагивала и не знала куда девать глаза. Я пытался ее рассмешить, паясничал перед ней, но

она только трепетала от страха и старалась быть как можно предупредительнее.

Да неужели же светлая доверчивость - источник прегрешений?

Я начал копаться в книгах, повествовавших о надругательствах над замужними женщинами, но нигде не вычитал о происшествии более диком, чем то, что произошло с Ёсико. Если бы хоть какое-то чувство связывало ее и того коммерсанта, что-то вроде влюбленности - я, как это ни парадоксально, легче перенес бы беду; но была только летняя ночь и была доверчивость Ёсико. И вот - такой удар в самое чувствительное место. Я выплакал голос, поседел; Ёсико отныне всю жизнь была вынуждена бояться меня.

Во всех книгах главное - простит муж измену жены, или нет; мне же это совсем не казалось важным. Ах, как счастливы мужья, обладающие правом прощать или не прощать! Не можешь простить - не велика беда, тихо оставь жену и найди другую; а не то - можно и притерпеться, простить. Во всяком случае такой муж способен найти кучу вариантов, чтобы все полюбовно уладить. Хотя, безусловно, для любого мужчины это страшный шок, но он не бесконечен, как морские приливы и отливы. Муж, имеющий права, какое-то время пребудет в гневном праведном, но в конце концов справится с бедой. Да не так в моем случае: у меня ведь нет никаких прав, как ни рассуждай - виноват прежде всего я сам. Так вправе ли я гневаться на Ёсико? Даже упрека высказать не могу; поругана она лишь потому, что обладает редким прекрасным качеством, о котором я сам всю жизнь страстно мечтал, которого с детских лет жаждал кристально чистой доверчивостью к людям...

Так неужели кристальная доверчивость преступна?!

Если ценность того единственного, к чему я стремился, сомнительна - что же я могу понять в этом мире? Чего желать? Или нет ничего, кроме алкоголя? С утра я наливался дешевым сакэ, выглядеть стал жалко, зубы испортились и поредели; работа тоже шла плохо: мои комиксы походили более на непристойные рисунки. А если быть откровеннее - я просто стал делать копии порнографических рисунков и тайком сбывать их: нужны были деньги на сакэ. Когда передо мной оказывалась Ёсико, когда она виновато отводила глаза, мозг сверлила одна мысль, которую я не мог прогнать: эта баба ведь совсем не способна за себя постоять, может коммерсант насиловал ее не однажды? А может и Хорики тоже? И еще кто-нибудь, кого я совсем не знаю? Одно сомнение рождало

другое, но смелости разрешить их, прямо поговорив с Ёсико, тоже не было. Опять беспокойство и страх замучили меня, и я, чтобы забыться, пил. Порой робко, замирая от ужаса, пытался выведать какие-нибудь подробности. В душе одни переживания сменялись другими, но внешне я, как когда-то, дурачился, ласкал Ёсико (то были отвратительные, адовы ласки), после чего погружался в сон, как в грязь.

В конце того же года, вернувшись домой однажды очень поздно и, конечно же, мертвецки пьяным, я захотел попить подслащенной воды и стал искать сахар (Ёсико уже спала). Найдя сахарницу, открыл крышку и обнаружил, что сахара нет, но внутри увидел продолговатый бумажный пакетик. Прочитав этикетку, оцепенел. Половина ее была отцарапана, но на уцелевшей латинскими буквами значилось: DIAL.

Диал - снотворное; я в то время, несмотря на бессоницу, снотворных еще не пил, ограничиваясь алкоголем, но представление о них имел. В этом пакетике находилась смертельная доза, даже больше. Он еще не был распечатан, но на всякий случай имелся... Бедная дурочка. Сама она не знала латинских букв и наивно полагала, что если отдерет надпись по-японски, никто ничего не поймет. (Грех неведом тебе, Ёсико!) Стараясь не шуметь, я тихонько налил в стакан воды, разом отправил все таблетки в рот и спокойно запил их, после чего выключил свет и лег в постель...

Трое суток я был ни жив ни мертв. Доктор, полагая, что я неумышленно выпил много снотворного, сообщать в полицию не торопился. Когда я стал приходить в себя, первое, что я произнес в бреду, было, якобы: "хочу домой". Что за дом я имел в виду, неясно мне самому. Во всяком случае, все слышали именно эти слова, да еще горькие рыдания.

Постепенно пелена спала с глаз, и я увидел у изголовья Палтуса; лицо у него было очень недоброе.

- И раньше тоже - именно в конце года, когда голова кругом идет от всяких дел, - именно в конце года он устраивает такие фокусы. Сил никаких уже нет... - говорил Палтус сидевшей тут же "мадам" из бара в Кебаси.

- Мадам! - позвал я.

- Ну что, пришел в себя?! - Она радостно засмеялась и прижалась лицом к моим щекам. Слезы невольно потекли у меня из глаз.

- Дайте мне уйти от Ёсико. - Эти слова вырвались у меня

неожиданно для себя самого.

"Мадам" приподнялась и чуть слышно вздохнула.

А дальше я... - Бог знает, что это было: невольный фарс ли, просто глупость или нечто другое, не поддающееся определению, - но только с языка сорвалось:

- Хочу туда, где не будет женщин.

Сначала Палтус громко загоготал, потом захихикала "мадам" и, наконец, я, глотая слезы, конфузливо улыбнулся.

- Это ты молодец! Это лучше всего, - не переставая гоготать, говорил Палтус. - Это прекрасно - отправиться туда, где нет женщин. С женщинами жизнь - не жизнь. Это ты хорошо придумал: "туда, где не будет женщин"!..

Самым чудовищным образом мои глупые слова стали вскоре явью.

Ёсико считала, что я пытался отравиться из-за нее, и более, чем прежде трепетала передо мной, не смела улыбнуться, что бы я ей ни говорил, вообще боялась рот раскрыть. Валяться в комнате было тошно. Наконец, я смог выходить на улицу и опять стал хлестать дешевое сакэ. После истории с диалом я заметно исхудал, чувствовал страшную слабость в руках и ногах, не мог заставить себя прикоснуться к работе. Когда Палтус последний раз приходил ко мне, он оставил деньги. (Он все пытался внушить мне, что принес свои деньги, но, думаю, то были деньги из дома, от братьев. В отличие от того дня, когда я убежал из его дома, теперь пышные спектакли Палтуса не могли меня обмануть; будучи сам хитрым, я разыграл доверчивость, смиренно поблагодарил его за деньги. Однако для чего ему это надо было? - Вроде понимаю, и совсем не понимаю, все это мне кажется ужасно странным.) Так вот, на эти деньги я решил поехать на южную часть полуострова Идзу на минеральные источники.

Но разве могли мне чем-нибудь помочь эти целебные источники? Постоянно вспоминалась Ёсико, и безумная тоска мучила меня. Из окна номера я подолгу глядел на простиравшиеся вокруг горы; душевное спокойствие не приходило. Я так и не надел ни разу ватное кимоно, чтобы побродить в горах, ни разу не искупался в источнике, если и выходил на улицу, то лишь затем, чтобы забежать куда-нибудь напиться сакэ. Мое состояние только ухудшалось, и я решил вернуться в Токио.

...Ночью шел сильный снег. Я брел по улочке за Гиндзой, расшвыривая снег носком ботинка, и бесконечное число раз пел

вполголоса одну строку популярной военной песни "Родина за сотни миль отсюда". Неожиданно меня вырвало. Я впервые харкал кровью. На снегу расплзлось красное пятно - ни дать ни взять флаг Японии. Я присел на корточки отдышался, потом обеими руками стал тереть снегом лицо. И не переставал плакать.

"Куда ведет дорога?.. Куда ведет дорога?.. "

Издалека доносится печальный девичий, почти детский голосок. А может, никто и не поет, может, это мне только кажется... Несчастливая девочка... Сколько же в этом мире несчастных, по-разному несчастных людей... Хотя нет, можно смело сказать, что все несчастны на этом свете; правда, все могут со своим несчастьем как-то справиться, могут открыто пойти против мнения "общества", и оно, очень может быть, не осудит, возможно даже посочувствует им; но мое несчастье проистекает от моей собственной греховности и всякое сопротивление обречено. Заговори я вразрез с мнением общества - не только Палтус, но и все люди крайне изумятся: глядите, у него еще язык поворачивается что-то требовать... Сам не пойму - то ли я очень уж, как говорится, "своенравный", или, наоборот, слабохарактерный, что ли, но одно несомненно: я - сгусток порока, и уже только в силу этого несчастье мое становится все глубже и безысходнее, и ничего с этим не поделаешь...

Я постоял, подумал и решил, что прежде всего надо бы принять какое-нибудь лекарство; зашел в первую попавшуюся аптеку. Войдя, встретился взглядом с хозяйкой, почему-то она буквально остолбенела, вперив в меня широко раскрытые глаза. В них читался не испуг, не враждебность, а что-то похожее на мольбу о спасении, бездонная тоска была в них. "Бог мой, она тоже несчастна, а несчастные люди остро воспринимают чужое горе", - подумалось мне, и в глаза бросилось, с каким трудом она встала, опираясь на костыль. Подавив в себе порыв подбежать и помочь ей, я стоял, не отрывая от нее взгляда, слезы навернулись на глаза. По щекам женщины тоже катились крупные слезы.

Остаться здесь было невозможно, я вышел из аптеки. Добрал до дома. Ёсико напоила меня подсоленной водой, и я сразу, ничего не говоря, свалился в постель. Провалился весь следующий день, солгав Ёсико, что, кажется, простыл, а вечером, не в силах отогнать беспокойную мысль о болезни, кровохаркании (это я держал в секрете), поднялся с постели и пошел в ту самую аптеку. Улыбаясь, без утайки

рассказал хозяйке о том, что было и почему меня беспокоит нынешнее состояние здоровья, попросил совета.

- Вам следует воздерживаться от алкоголя. Меня не покидало чувство, что нас связывает что-то родственное.

- Наверное, я уже хронический алкоголик. Вот и сейчас тянет выпить.

- Нельзя. Мой муж болел туберкулезом и считал, что надо пить, потому что алкоголь, якобы, убивает бактерии... Так и пристрастился, сам жизнь свою укоротил...

- Какая-то тревога постоянно гнетет меня, я все время чего-то боюсь... И нет сил вынести эти страдания...

- Хотите, я подберу вам лекарства? Только обещайте бросить пить.

Постукивая костылем, хозяйка аптечной лавки начала снимать с полки, вытаскивать из коробок разные лекарства. (Она вдова, единственный сын учился в медицинском институте где-то в префектуре Чикаго, но вскоре, как и отец, заболел туберкулезом и давно уже находится в больнице; с ней в доме живет разбитый параличом свекор; у нее самой в пятилетнем возрасте был полиомиелит, и с тех пор одна нога совсем не действует.)

- Это кровообразующее средство. Вот для инъекций витамины в ампулах, а вот шприц. Здесь кальций в таблетках. Это - диастаза, чтобы желудок не испортить лекарствами.

Она отобрала пять-шесть лекарств, объяснила назначение каждого. Меня очень тронула ласковость этой несчастной женщины.

- А здесь, - она поспешно завернула в бумагу маленькую коробочку, здесь лекарство, которое примете, если совершенно невтерпех захочется алкоголя.

В коробочке был морфий. Он, по словам хозяйки, менее вреден для меня, чем спиртное; так думал и я сам, тем более, что состояние опьянения казалось мне тогда нестерпимо противным. И вот, радуясь, что наконец-то смогу избавиться от этого сатанинского наваждения, я вколол себе в руку морфий. Тревога, раздражение, робость - все моментально исчезло, я почувствовал себя веселым человеком, ощутил прилив сил, способность искусно рассуждать на любые темы... Уколы помогали мне забыть, что здоровье очень подорвано, я с воодушевлением работал над комиксами, причем рождались сюжеты настолько эксцентричные, что я сам, пока рисовал, время от времени

прыскал со смеху.

Я рассчитывал, что вполне достаточно будет впрыскивать по одной ампуле в день, но вскоре дозу пришлось увеличить до двух, а потом и до четырех ампул - иначе работа никак не двигалась.

Хозяйка аптеки забеспокоилась:

- Это очень плохо. Будет ужасно, если вы пристраститесь к морфию.

И тут я понял, что это уже произошло. (Я очень легко поддаюсь внушению; когда мне говорят, например: эти деньги не трать, - говорят, зная, что наверняка истрачу их, - я начинаю думать, что нехорошо не тратить, иначе обману чьи-то ожидания, короче, возникают какие-то превратные толкования и, в результате, я, конечно, трачу все деньги.) Так вот, опасение стать наркоманом, наоборот, подталкивало меня к тому, что я все больше и больше принимал морфий.

- Ну пожалуйста, только одну упаковку! В конце месяца я за все уплачу.

- Да не в оплате дело, уплатить можно в любое время... А если полиция узнает...

О Господи, а и вправду вокруг меня постоянно вертелись подозрительные темные личности.

- Ничего, от полиции как-нибудь отверчусь. Ну прошу вас, хозяйюшка! Дайте я вас поцелую.

Лицо женщины залилось румянцем.

Пользуясь моментом, я повел наступление решительнее:

- Работа без лекарства совсем не идет. Понимаете? Оно действует как стимулирующее.

- Тогда лучше гормональные инъекции.

- Не-не, не надо делать из меня дурака. Или сакэ, или то лекарство, иначе работать не могу.

- Сакэ ни в коем случае.

- Ну вот! Кстати, как начал принимать то лекарство - ни капли алкоголя в рот не брал. И, слава Богу, чувствую себя отлично. Я, к слову сказать, не собираюсь всю жизнь рисовать дурацкие комиксы. Решил не пить. Вот поправлю здоровье, буду учиться и стану приличным художником. Так что нынче - очень важный период в моей жизни. Уж не отказывайте, дайте лекарство, а я вас за это расцелую.

Хозяйка засмеялась:

- Ну что с тобой поделаешь... Смотри только, не втягивайся в это

дело.

Гремя костылями, она подошла к полке, сняла коробку.

- Целую упаковку не дам, а то сразу все вколешь. Только половину.

- Ну-у... Целую жалко, что ли?... Ладно, и на том спасибо.

Вернувшись домой, я сразу вколол себе одну ампулу. Ёсико спросила:

- Не больно?

- Больно, конечно. Но приходится терпеть. Ради того, чтобы повысить работоспособность. Кстати, тебе не кажется, что в последнее время я стал гораздо лучше выглядеть? Итак, за работу, за работу, за работу! - Я был в сильном возбуждении.

Однажды я отправился в эту аптечную лавку глубокой ночью. Стучусь. Вышла хозяйка, как всегда, гремя костылями. Хватаю ее в объятия, целую, делаю вид, что плачу навзрыд.

Она молча протягивает мне коробочку.

Я стал уже законченным наркоманом, когда убедился, что морфий - такая же как и сакэ, нет, более, чем сакэ зловещая и грязная штука. В бесстыдстве дошел до предела. Ради морфия опять занялся изготовлением и продажей порнографии, а с калекой-аптекарейшей даже вступил в любовную связь.

Хочу умереть. Умереть хочу. Назад пути отрезаны. Теперь уже что ни делай, как ни старайся - все напрасно, только больше стыда оберешься. Не до велосипедных прогулок. Не до любования водопадом "Молодые листья". Впереди только позор да презрение, грязь да мерзость - мучения все более тягостные... Как хочется умереть! Это единственный выход. Надо умереть; жить - только дальше сеять семена греха... Мысли теснились, они почти довели меня до безумия, пока я ходил в аптеку и обратно.

Работал я и тогда немало, но морфия со временем потреблял все больше и больше, долг за него вырос в огромную сумму. Хозяйка аптеки при моем появлении уже не могла удержаться от слез. Лил слезы и я.

Ад.

Выход из него виделся в том, чтобы написать отцу покаянное подробное письмо (естественно, умолчав о женщинах), изложить свое состояние. Это последний шанс, на карту ставится все: жить или не жить Божьему творению. Если эта последняя попытка окончится ничем

- остается только повеситься...

Однако ничего хорошего из этого предприятия не выходило. Ужасно долго ожидая ответ из дома, я только нервничал, места себе не находил, и день ото дня увеличивал дозу морфия.

Вколол однажды ночью сразу десять ампул, я решил завтра же тихо уйти из жизни, бросившись в реку Оогава. Но тут, каким-то сатанинским нюхом учуяв замышляемое, появился Палтус, да еще привел с собой Хорики.

- Ты, я слышал, кровью стал харкать? - начал, усаживаясь передо мной, Хорики; лицо его сияло невиданной мною доселе доброй улыбкой, заставившей меня растаять, почувствовать нечто вроде благодарности. Глаза наполнились слезами, и я отвернулся. Одна эта добрая улыбка совершенно сломала меня, лишила воли и похоронила.

Меня усадили в машину.

- Сейчас тебе следует лечь в больницу, а дальше - ложись на нас, увещевал меня Палтус. (Он говорил со мной очень мягко, несомненно, он сострадал.) И я, как безвольное и бездумное существо, покорно поддакивая и время от времени всхлипывая, делал, что мне велют.

Вчетвером (Ёсико тоже поехала с нами) мы долго тряслись в машине и, когда начало смеркаться, подъехали к большому зданию больницы, одиноко стоявшему в лесу. "Санаторий" - вертелось у меня в голове.

Поразительно ласковый молодой врач очень любезно побеседовал со мной и, смущенно улыбаясь, заключил:

- Ну что ж, поживите у нас, отдохните как следует.

Палтус, Хорики и Ёсико собрались возвращаться. И тут Ёсико, передавая мне сверток с одеждой, молча вытащила из своего широкого пояса шприц, остатки того самого моего "лекарства" и протянула мне. Она наверняка считала, что это не более чем стимулирующий препарат.

- Нет, больше не потребуется, - сказал я.

Потрясающе, правда? Единственный раз в жизни мне предложили морфий, а я отказался. Это при том, что мои несчастья проистекают от неспособности отказываться. Меня всегда мучил страх, что если я откажусь от чего-то, предложенного кем-то, то и у этого человека, и у меня в душе навсегда останется тень обиды. Но в тот момент я совершенно естественно отказался от морфия, которого с таким нетерпением всегда требовал. Вероятно, потрясенный ангельским неведением Ёсико я перестал быть наркоманом?

Все уехали. Деликатный доктор отвел меня в палату. Щелкнул замок. Вот я и в психбольнице.

Самым удивительным образом осуществилось мое нелепое, высказанное в бреду пожелание - наконец-то я в таком месте, где нет женщин. В этом корпусе больницы только сумасшедшие мужчины, весь медперсонал тоже исключительно мужской.

Какой я теперь преступник, теперь я сумасшедший... Но нет, с ума я не сошел, я ни на мгновение не терял рассудок. Но ведь - о, Боже, - так думают о себе все сумасшедшие. Что же полу

чается? Те, кого насильственно поместили в больницу - все умалишенные, а кто за ее воротами - все нормальные?

К Богу обращаю вопрошающий взор свой: непротивление - греховно?

При виде необычайно доброй, даже красивой улыбки Хорики я прослезился, без слов и всякого сопротивления сел в машину, меня привезли сюда - и поэтому я сумасшедший? Теперь уже, если и выйду отсюда когда-нибудь, на лбу моем всегда будет клеймо: "умалишенный". Нет, "неполноценный".

Я утратил лицо человеческое.

Я уже совершенно не человек.

Меня привезли в больницу для душевнобольных в начале лета; в то время цвели кувшинки, и из зарешеченного окна я любовался красными цветами, плавно скользившими по пруду. Через три месяца в больничном дворе зацвели космеи. В это время неожиданно за мной приехали старший брат и Хорики. Они сообщили, что у отца была язва желудка и в прошлом месяце он скончался; уверяли, что не будут вспоминать прошлое, не доставят мне никаких беспокойств, берут на свое попечение, и от меня ничего не требуется, кроме одного: пусть это меня очень не устраивает, но я немедленно должен уехать из Токио, жить и поправляться в деревне; что же касается всех токийских дел, которые я натворил - об этом, сказали они, позаботится Палтус. Все говорилось рассудительно и сухо.

Перед взором пронеслись родные места - горы, реки, - и я согласно кивнул.

"Неполноценный человек"... Воистину так...

Новость об отце подействовала на меня ошеломляюще. Нет отца, не стало того близкого и одновременно очень страшного человека, о

котором я никогда не забывал ни на миг; я ощутил, что сосуд моих страданий опустел. И такая мысль пришла в голову: не из-за отца ли столь тяжел был этот сосуд страданий? Мною овладела полнейшая апатия. Я потерял способность даже страдать.

Брат аккуратно выполнил все, что обещал: в четырех-пяти часах езды на поезде к югу от городка, где я родился и провел детство, вблизи моря есть минеральные источники, кстати, удивительно горячие для северо-востока страны; там, за деревней брат купил и передал в мое пользование пятикомнатный старый дом с облупившимися стенами. Столбы, которые поддерживают дом, подточили жуки, так что отремонтировать его не имело смысла. Вместе с этой хижинкой брат предоставил впридачу служанку - уродливую рыжеволосую шестидесятилетнюю бабу.

Живу здесь уже три с лишним года. Неведомым образом случилось, что несколько раз спал с этой старухой (ее зовут Тэцу); иногда между нами бывают "семейные" ссоры. Болезнь то обостряется, то отпускает меня. Я то худею, то толстею. Порой бывает мокрота с кровью. Вчера послал Тэцу в аптеку за "карумочином" (снотворным), она принесла лекарство, только коробочка была другая; я не обратил на это внимания и перед сном выпил аж десять таблеток, но глаз так и не сомкнул. Удивился тем более, что почувствовал что-то неладное с желудком, побежал в уборную - оказался страшный понос; бегал еще три раза подряд, потом не вытерпел, посмотрел, что за лекарство принесла мне Тэцу - слабительное "хэномочин".

Лег, положив на живот грелку с горячей водой. Хотел было всыпать Тэцу: почему вместо одного лекарства купило другое, да только засмеялся. "Неполноценный" - это слово, несомненно, комическое. Комедия, не правда ли, пить слабительное, чтобы заснуть?

Я теперь не бываю ни счастлив, ни несчастен.

Все просто проходит мимо.

В так называемом "человеческом обществе", где я жил до сих пор, как в преисподней, если и есть бесспорная истина, то только одна: все проходит.

В этом году мне исполнится двадцать семь лет. Голова почти белая, и обычно люди считают, что мне за сорок.

Послесловие

Я не знаком непосредственно с автором этих Тетрадей. Правда, доводилось встречаться с женщиной, описанной здесь как "мадам" из бара в Кебаси. Она маленького роста, бледная, с очень косым разрезом глаз и довольно крупным носом - в общем, миловидной ее назвать трудно, более похожа на симпатичного юношу, тем более, что и характер ее показался мне довольно твердым.

Судя по всему, в этих Тетрадах показан Токио 1930 - 1931 годов. Друзья несколько раз приводили меня в упоминавшийся в Тетрадах маленький бар, но, правда, позднее - в годы, когда разгул милитаризма стал почти откровенным, то есть в 1935 - 1936 годах; следовательно, автора дневника встретить там лично я не мог.

В феврале этого года я был в гостях у одного приятеля, эвакуировавшегося в Фунабаси (префектура Чиба); это мой друг по университету, в настоящее время преподаватель женского колледжа. Я поехал к нему, чтобы обговорить его брак с моей родственницей, и на всякий случай прихватил большой рюкзак, надеясь, что удастся запастись в Фунабаси свежими морепродуктами для семьи.

Фунабаси - довольно большой город на берегу Токийского залива. Приятель живет здесь недавно, и найти его было нелегко. Я долго бродил по улицам. Тем временем похолодало, да еще тяжелый рюкзак отдавил плечи, и когда я увидел перед собой кафе, услышал скрипку (в кафе крутили пластинку), обрадовался и зашел туда.

Владелицей кафе оказалась та самая "мадам", которая десять лет назад держала в Токио маленький бар, я сразу узнал ее. И она, кажется, припомнила меня. Мы удивились друг другу, радостно засмеялись и повели оживленную беседу, избегая обычных в то время расспросов о том, кто как пережил бомбежки и пожары.

- Вы совсем не изменились, - сказал я.

- Да что вы! Я уже совсем старуха, хожу, костыми гремлю. А вот вы и в самом деле молодой.

- Какой там молодой... Детей трое... Вот, приехал чего-нибудь купить для них..

Обменявшись банальными фразами, обычными, когда собеседники

давно не виделись, мы стали вспоминать общих знакомых. И тут, несколько сменив тон, она спросила, не знал ли я человека по имени Ёдзо. Я ответил, что не знал. Она куда-то вышла и через минуту принесла три тетрадки с тремя фотокарточками и протянула мне:

- Может, пригодится для романа.

Я не очень склонен писать на темы, которые мне навязывают, и потому хотел тут же вернуть эти записи, но случайно взглянул на фотографии, о которых писал вначале. Что-то в них поразило меня, я согласился просмотреть тетради и снимки, обещая вернуть их, когда буду уезжать из Фунабаси. На всякий случай поинтересовался, не знает ли эта женщина, где живет такой-то, преподаватель колледжа, и - вот что значит новоприбывший слой жителей будучи, как и мой приятель, эвакуирована сюда, она была с ним знакома, более того, он иногда заглядывает в это кафе и живет недалеко отсюда.

В тот же вечер, выпив с приятелем, я остался у него ночевать, но не спал ни минуты, поглощенный чтением Тетрадей.

Все, о чем в них говорится - дело прошлое, но, несомненно, и сейчас читатель найдет много интересного для себя. Я решил, что лучше будет не прикасаться своей бесталанной рукой к этим дневниковым записям и в неизменном виде опубликовать их в каком-нибудь журнале.

Я попрощался с приятелем и, надев на спину рюкзак с морепродуктами для детишек (удалось достать только сушеные продукты), направился в кафе.

- Спасибо вам за все. Только у меня есть к вам просьба, - без обиняков перешел я к сути. - Не могли бы вы дать мне эти дневники на какое-то время?

- Конечно, пожалуйста.

- Их автор жив?

- Вот этого я не знаю. Лет десять назад на адрес моего бара в Кебаси пришла бандероль с этими тетрадями и фотографиями. Послал их, безусловно, Ёдзо, но ни обратного адреса, ни даже имени на бандероли не было указано. Во время бомбежек тетради удалось вместе с другими вещами спасти, но перечитала их только недавно, и...

- И плакали?

- Да нет, не то, чтобы плакала... Ох, не знаю... Ведь человек же... И жизнь так с ним обошлась... Кошмарно все это, кошмар какой-то...

- Да... Но прошло уже десять лет. Возможно, он умер. Тетради эти

он, конечно, отправил вам в благодарность. Кое-где в записях проглядывает что-то вроде самолюбования, мне кажется. Кстати, и вам пришлось из-за него несладко. Если все это правда, и если бы я был его другом, то, возможно, я тоже повез бы его в больницу для душевнобольных.

- Отец, его отец во всем виноват. Ёдзо, каким мы его знали, был очень славный, очень порядочный человек... Если б только он не пил так... Да пусть далее и пил... Он был прекрасный ребенок, чистый, как Бог.

Осаму Дадзай

Примечания

1

Хакама - нижняя часть мужского выходного костюма, напоминает юбку с широкими складками. (Здесь и далее примечания переводчика.)

2

Хибачи - очаг, углубленный в полу, традиционное средство обогрева в японском доме.

3

Натто - масса из перебродивших соевых бобов.

4

Ё-чян - уменьшительно-ласкательная форма имени Ёдзо.

5

Эпоха Эдо - XVIII-XIX вв.

6

В Японии учебный год начинается 1 апреля.

7

Сетоку Дайси - принц, живший в 574 - 622 гг.

8

Кусуноги Масасигэ - полководец XIV века.

9

Тофу - перебродивший соевый продукт.

10

Гюмэси - рис с говядиной.

11

Якитори - птица, маленькими кусочками обжаренная на вертеле.

12

Кансай - район городов Осака-Киото.

13

Оби - широкий пояс, важный декоративный элемент кимоно.

14

Танка - классическая форма японского стихотворения из пяти строк, соответственно 5-7-5-7-7 слогов в строке; рифма отсутствует.

15

Сасими - ломтики сырой рыбы, другие морепродукты, которые едят с соевым соусом.

16

Татами - соломенный мат, площадью примерно 1,5 кв.м, ими настилаются полы в японском доме.

17

Гэта - деревянные сандалии с ремешком для большого пальца.

18

О-сируко - сладкое блюдо из фасоли и рисовых клецок, подается на десерт.

19

Кюсю - самый южный из четырех крупных островов Японского

архипелага.

20

Здесь стихи даны в переводе с японского.

21

Псевдоним, придуманный героем по звучанию означает "Выживший самоубийца".

22

Стихи Омара Хайяма в переводе И. Тхоржевского. (В книге: Георгий Гулиа "Сказание об Омаре Хайяме", Москва, 1976)

23

Встречавшееся ранее имя Ё-чян - уменьшительно-ласкательная форма имени Ёсико.

24

У японцев есть поговорка: "Луну затмевают облака, цветы сдуваются ветром".

25

Игра слов, основанная на слоговом характере японского письма:

"преступление" - цуми, "мед" - мицу.